

рисунок, живопись, скульптура, архитектура, композиция, история искусств

# ЖУРНАЛ

№ 16

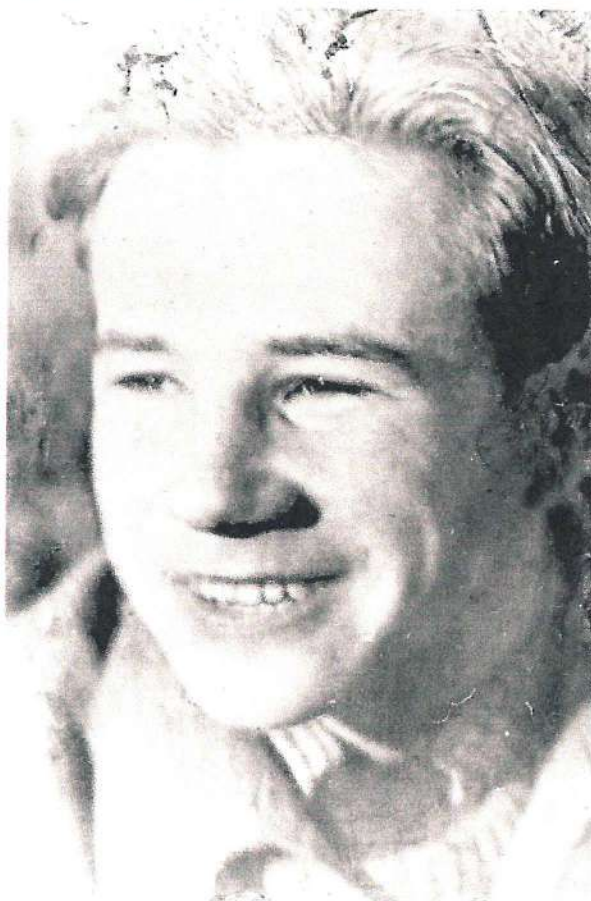
2003

Московского Академического Художественного Лицея  
Российской Академии Художеств



Москва

# Люциан Шитов



## ЛУЧИ ДЕТСТВА

Книга эта об одаренных детях, которые стали (и не стали) художниками. Она состоит из дневников, писем и различного рода заметок, сделанных в 1939 — 1943 годах. Почему такое название? Очень просто. Идущие с ранних лет бесконечной протяженности лучики чистоты душевной и творческого восторга озаряют сегодня память о преждевременно ушедших из жизни и во многом определяют судьбу тех, кто, оставаясь верными прежним идеалам, продолжает трудиться. Вот об этом, собственно, и речь.

Это второй вариант. Первый, изданный весьма скромным тиражом, назывался “Вундеркинды”. Он так и остался лежать целехоньким. Причины? Одна из них: лишь новоиспеченная книга появилась, один мой хороший приятель (нет, чтобы сделать раньше) вернул хранившиеся у него более полувека остатки моих записок и дневников. Оказались они интересными. И легко по хронологии и стилю вошли в основное повествование. Оно обогатилось, стало занятнее и по сути (с учетом иллюстративного ряда) представляет сегодня непосредственное свидетельство далекого вундеркиндного прошлого. Не исключена возможность, что заметки эти через какой-то промежуток лет (вернее, десятилетий) помогут будущим любознательным исследователям разобраться в особенностях художественной жизни нашей страны в беспокойном двадцатом веке. По крайней мере, не очень сильно упрекая себя в нескромности, надеюсь на это.



## I. Самое начало.

1939 год.

Пионерский лагерь остался позади. На Павелецком вокзале — конечной остановке нашего паровоза, меня встречали отец, мама, брат. Вся семья в сборе. Угостили грушей. Захлебывался от обилия новостей. Тех, что сам высказывал, и которые мне сообщали. В сгустившейся вечерней тьме Москва, по которой соскучился, вдруг разом изукрашилась огнями. Сели в «эмку». Меня, как гостя, поместили рядом с водителем.

— Между прочим, сынок,— сказал папа,— помнишь, я говорил, что открывается специальная школа для юных художников? Так вот, рисунки твои я сдал туда.

— Ну, и что?

— Вроде бы, хорошо. Готовься! Послезавтра вступительные экзамены...

Катанье на легковой машине понравилось. И город со светящимися окнами, витринами нарядными, неторопливыми людьми. Свежий воздух врывается в приоткрытое окно. Застрявший посередине Русаковской улицы старик рукой показывал, с какой стороны его лучше объехать.

— Имей в виду,— продолжал папа,— многих не допустили. На лестнице мне встретился маленький карапуз. Он стоял грустный, держа папку с рисунками. И плакал. Провалился! Сказали, что его работы не самостоятельные, срисованы...

Сколько же огней в Москве! Куда больше, чем в пионерлагере, даже сравнивать смешно. Там вечерами мы сидели при керосиновых лампах.

Машина приближалась к дому.

Итак, начало испытаний 25 августа. Я решил не готовиться, будь что будет. Почему? Объяснял себе: если сдам — хорошо, не сдам — тоже не плохо. Правда, будет обидно, что засыпался, но я ничего не теряю.

Одним словом, 25-го утром папа подвез меня на своей служебной машине. Я приехал на Каляевскую улицу, где находилась школа, не к десяти часам, а минут на тридцать раньше. Познакомился с ребятами. Смотрю: кто с этюдником, кто с сумкой, кто с портфелем, у кого из карманов торчат коробки с красками. А у меня — карандаш «негро», и больше ничего.

Вначале должен быть экзамен по живописи. А живопись — это цвет. Что делать? Из беды выручил один мальчик, дал мне акварельные краски и кисточку.

Узнал, что нахожусь в пятой группе третьего класса. Мы писали натюрморт, который состоял из кувшина сложной раскраски, желтой груши и кусочка розового арбуза. Основную трудность представлял кувшин — зеленовато-коричневый в верхней своей части и красновато-коричневый внизу. Кроме того, он был в мелких пятнах, и на него падал сильный свет из окна, слева. Мне показалось, что все намного лучше меня работают. Кувшин получился на этюде какой-то дикой масти. Может, потому, что в каждый цвет я примешивал белила. Груша вышла несколько лучше, чем кувшин и арбуз. Писали натюрморт три часа. Потом спустились на второй этаж. Дальше по расписанию — экзамен по рисунку.

Рисовать нужно карандашом. Снова натюрморт. На этот раз: темно-синяя прямоугольная банка на белом известковом кирпиче. К банке прислонена круглая жестянка. Преподаватель объяснил задание: «Нарисовать надо так, чтобы было видно, разбираетесь ли вы в перспективе». В черной блестящей крышке стола, на котором были расположены предметы, отражался весь натюрморт, образуя игру теней и полутонов. На это упражнение тоже отводилось шесть часов: три часа в один день, три — в другой. Рисунок вышел у меня вполне, как сперва показалось, приличным.

Из школы я прошел на Суцевскую улицу, к отцу, на его работу в Наркомфин. Пообедал с ним и отправился домой.

На следующий день начался экзамен по композиции. Опять я не подготовился и не принес краски. Думал, композицию можно делать карандашом.

Некоторые ребята дома тщательно готовились к испытаниям, составляли заранее маленькие эскизы и по ним рисовали в классе. Очень хорошо получилась работа у моего соседа. Танк вздыбился на полнеба. Из танка пули вылетают одна за другой. Видны три человеческих фигурки. Одна лежит под танком, другие заслоняются руками от пулеметного огня.

Честно говоря, толком не знаю, что такое композиция, как ее надо сочинять. Когда объявили темы, задумался. Что выбрать? Решил изобразить молодую колхозницу, сидящую за рулем трактора. Желтая рожь кругом колосится, полоска темного леса на горизонте, разлапистые



сосны сбоку. А сверху голубое небо с большими, как комья снега, облаками — чтоб они подчеркивали силуэт трактористки, загорелое ее лицо. Идея эта, бесспорно, показалась удачной. Но ведь трактористка должна сидеть на тракторе, а устройство трактора, даже вид его внешний, не помню. Нарисовать же трактористку с одним только рулем, а трактор затушевать — не решился.

Наконец, пришла в голову мысль изобразить огромный стог сена, который везет лошадь. Это я видел в пионерлагере. А на самой верхушке стога расположить группу колхозников, окончивших уборку сена, жизнерадостно поющих под гармошку. Гармониста набросал, вроде бы, неплохо, но чересчур крупно. А вот со стогом сена и лошадкой составилось затруднение — не помещались на листе. Тогда гармониста переделал в красноармейскую форму и нарисовал еще нескольких красноармейцев. Один сидит, играет на гармошке, двое стоят рядом, слушают, улыбаются, гармонист играет что-то бодрое. Четвертый задумчиво сидит рядом. За этой группой видна спортивная площадка, на которой играют в волейбол. Рисовал цветными карандашами. Назвал работу «Отдых красноармейцев».

Заканчивать эскиз не стал, оставил на следующий день.

После композиции снова был рисунок (окончание). Так как за первый день я почти завершил натюрморт, то на этот раз только подправил пропорции и ушел домой.

Утром 27 августа испытания продолжались. Рисовали женщину в двух различных позах. Два наброска по 45 минут. Вроде бы получилось. Хотя наброски у других ребят были лучше. После опять занимались композицией. Свой эскиз быстро дорисовал. Когда сдавал его, преподаватель спросил: занимался ли я в какой-нибудь изостудии? Я ответил, что занимался. Только ходил раза три, так как поступил туда поздно, в конце весны. «А что за студия?» — «На Метростроевской улице. Для взрослых». — «Ну, ладно,— сказал он,— надпиши на работе свое имя, фамилию и возраст». Я надписал, сдал работу и ушел.

28 августа. Последний день испытаний. Заканчивали живопись. На этот раз я постарался, привез с собой в старом папином портфеле тюбики масляных красок, палитру круглую маленькую и кусок

грунтованного холста, на котором еще дома набросал натюрморт по памяти.

Начатую акварельную работу оставил на окне, позабыв разорвать или взять с собой. Что с ней случилось — не знаю. Маслом писать значительно легче, только перепачкался весь. Поправил намеченные дома контуры и давай мазать! С кувшином справился легко, сумел сопоставить, хотя и не очень правдиво, форму кувшина с его безалаберной окраской и светотенью. Снова, закончив раньше срока, сдал работу и отправился гулять.

Чтобы узнать, кого приняли, кого нет, надо было приезжать на Каляевскую улицу 29 августа к двум часам дня. Папа сказал, что ездить специально за этим не обязательно, можно результаты по телефону узнать. Но в этот день у меня был билет в Малый театр на пьесу А. Н. Островского «Бешеные деньги». Домой вернулся поздно. Спрашиваю отца: «Сдал экзамены или нет?» Он молчит, смотрит на маму. Она улыбается. Ну, думаю, засыпался! Боятся меня огорчить. Если бы сдал благополучно, не молчали бы. Повторяю вопрос. Отвечают: «Сдал, сдал...».

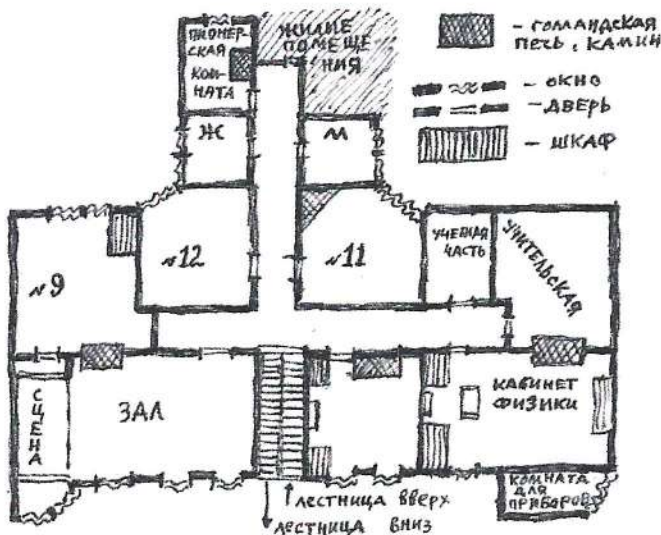
«Ого,— думаю,— это специально, чтоб утешение доставить». Говорю, пусть сообщат горькую правду, не боюсь. Хотя, конечно, «сдал» несколько лучше, чем «не сдал». Они разубедили, я поверил, что все окончилось благоприятно. Правда, если откровенно говорить, сам в этом мало сомневался. Но очень интересен тот момент, когда с трепещущим сердцем ждешь ответа. И представляешь, если скажут «нет», то все друзья и знакомые будут смотреть на тебя уже как-то по-другому, чем раньше. Если же «сдал», то в их глазах значительно возвысишься. Другими словами, играло здесь весомую роль самолюбие. Поэтому сперва и не поверил положительному результату, хотел на деле убедиться, что это правда.

Потом узнал, что в третий класс поступало более двухсот человек. Приняли сорок. Значит, я один из этих сорока счастливых. И теперь гуляю, занятия начнутся 15 сентября.

Это событие пока самое интересное в моей маленькой жизни. И минута, та минута, когда я узнал, что принят в школу юных дарований в Москве, была наиболее счастливой за все мои четырнадцать лет. И кто знает, может сыграть в моей судьбе какую-то роль.



15 сентября. Сегодня впервые отправился в школу. Находится она далеко от родных Сокольников. С гордостью глянул на вывеску у входа: «Средняя художественная школа при СНК РСФСР» (СНК — это Совет Народных Комиссаров). Утро. Нет еще девяти часов. Наконец-то нам разрешили войти в здание. Меня зачислили в третий класс «А». Ребята, рядом с которыми сдавал вступительные экзамены, попали в соседний, третий «Б». А в нашем — ни одного знакомого лица.



Л. Шитов. План 2 этажа школы.

Первые шестидневки, наполненные новым смыслом жизни, летели быстро, одна за другой. В школе 225 учеников, восемь классов. Старшие — восьмиклассники, по нынешнему исчислению — четвертые классы. Самые младшие — пятиклассники (первые классы). В третьем «А» тридцать человек. Разделены на две группы. Я попал в первую. Аудитория общеобразовательных предметов маленькая, с большим окном на левой стороне. Сидеть за одной партой довелось с Женей Батырем. Невысокий, коренастый, с сократовскими шишками на лбу, он оказался мудро неразговорчивым, чрезвычайно скромным и постоянно, на всех без исключения уроках, рисовал. «Ого, — поразился я, заглянув в его альбом, — мне до такого уровня еще расти и расти».

Разные фантазии и мечтания возникали в моей легковесной голове. «Вот, сижу здесь, в классе, смотрю на ребят. Все они, разумеется, вундеркинды. Хотя бы вон тот мальчуган, похожий на игрушечный

паровозик с перпендикулярной, ежиком, прической. Вдохновенная натура! Да, и каждый — художник. Надо же! Если не на деле, то в вероятности. Каждый выдержал строгий отбор. На место любого из нас могло усесться пятеро из числа тех, кто завалил экзамены!»

Я с детского садика не страдал самонадеянностью. Ясно, рисую пока хуже, чем Альбрехт Дюрер в моем возрасте. На первых уроках живописи пережил состояние, близкое к отчаянию. У меня не было этюдника, специального деревянного ящичка для кистей и палитры. Масляные краски, купленные в магазине, что рядом с кинотеатром «Орион» на Преображенской площади, палитру и кисти, завернутые в газету, я приволок на занятия в портфеле. Тюбики по дороге (в трамваях давка) раздавились. Вынимая их, перепачкался весь в желтой стронциановой и кобальте синем. Сперва ничего не ладилось. Хоть плачь. Выдавил на свою палитру с закругленными краями краски, взялся за кисти. Их у меня три: одна старая, маленькая и две новых — двадцатого номера. Пробовал работать мелкой кистью, не получается. Брался за широкую — того хуже. К тому же картон (о холсте на подрамнике лишь мечтаю) оказался некачественным. Цвет берешь вроде бы яркий, глядь, а он уже пожух.

Ребята сзади (так мне казалось) ухмыляются. Пересилил себя, продолжал живопись. Временами наступало прояснение. Представлялось, будто мой этюд расчудесный, писать дальше — только портить. Сравнивал свой натюрморт с работами соседей. Есть повод пригорюниться. Мой-то похуже! Именно в этот момент подходит педагог и обильно сыплет соль на раны душевные. Учитель наш, Павел Самойлович Хайкин, наверное, славный человек и хороший преподаватель. Он сердцем чувствует, к кому когда надо подойти, оказать поддержку. Дело даже не в конкретных рекомендациях, а в том, что после его замечаний появляется желание продолжать работу, исчезает уныние.

Павлу Самойловичу больше других нравится большущий и неуклюжий, словно слон (не слоненок, а именно слон — так мы его и называем) Гелий Коржев. Он до школы успел позаниматься в районной изостудии, поднаторел в художествах, но остался совершенно наивным парнем. Спрашивает, например, какого цвета умбра и почему она



натуральная? Что такое ультрамарин и «с чем его едят»? Коржев неразлучен с «маленьким пузырем» (это прозвище), худеньким, крохотным, веснушчатым Вовой Жариновым.

Вся первая наша группа на занятиях по живописи не выделялась особенными качествами, была, вообще-то, слабоватой. Как ни удивительно, но по специальным предметам сильнее оказались девочки. Говорят, что в юные годы у них правое полушарие мозгов энергичнее крутится и значительно обостряет чувство цвета.

...Вот так новость! В Сокольниках живут еще несколько человек из нашей школы. Роня Зархин и Митя Дмитриев. Совсем рядом, в соседнем доме со мной, на тихой, уложенной крупным булыжником Колодезной улице. И Миша Голубенков недалеко от нас обитает, в подвале ветхого домика на улице Короленко. Там, через квартал, находится здание школы обычной, куда я когда-то поступал в первый класс. А это уже совсем близко от Сокольнического парка. Ну, а возле станции метро «Сокольники» живет Слава Манухин, тот самый «паровозик» с прической ежиком.

Все мы, сами того не замечая, подросли, но считали себя по-прежнему детьми. Я за один только год прибавил в высоту десять сантиметров. Уже не удивляюсь тому, что перестали пускать в специальные, существующие в Москве, «детские вагоны» трамвая. Катание изо дня в день на метро помогло формированию почти взрослого внешнего вида. Приходится одеваться опрятно, не как попало, иногда даже с форсом. И до станции метро не пешком же идти! Поездки в переполненных трамваях, висение на подножках не только закаляли характер, вырабатывали терпение, но и тренировали мускулатуру. Нравилось, что все, кто висел на трамвайных подножках, вне зависимости от возраста, удивительно вежливо обходились друг с другом. Да и обязательный билет брать не нужно. На одной подножке, рискуя жизнью, могут одновременно находиться семь человек. Каждый стоит на одной ноге, помахивая другой, лишь бы уцепиться руками за поручни. Все семеро — монолитное братство, цельная конфигурация. И никто не вываливается. Водители автомашин осторожно объезжают, качая укоризненно головой. Нет, это не озорство, не желание

выказать удаль, это — я про «подножничников» — жизненная необходимость, понимание единства с Москвой и ее жителями; поступательным движением навстречу ветру, утреннему солнцу и завтрашнему, конечно же, счастливому дню.

Из учителей общеобразовательных предметов больше других всем нам нравился Евгений Маркович Сорин. Алгебра по расписанию оказалась в первый день. Получили сильное впечатление от встречи с неординарным человеком. В памяти осталось резкое светлое окно и темный силуэт непрерывнодвигающегося по классу небольшого роста учителя в поблескивающем пенсне, с громким, но приятным голосом, энергично жестикулирующего. Математикой и арифметикой, не говоря про алгебру, я интересовался мало, смысл слов Евгения Марковича доходил до сознания смутно. Но сам он казался симпатичным. Учитель, пытаясь пробудить интерес к своему предмету, обсуждал с нами тему: что такое математика, какова ее роль в жизни? Евгений Маркович вещал стремительно, приводил остроумные примеры и сравнения. А я-то полагал, будто этот скучнейший предмет — математика — лишь «списывательная» наука. Не помню, решил ли я самостоятельно хоть одну (в отличие от шахматных двухходовок и трехходовок) математическую задачу. В общем, уроки Сорина проходили оживленно. Как-то он поведал такую историю.

— Вы знаете, — начал Евгений Маркович, — с какими трудностями было отвоевано это великолепное, хотя и скромное помещение? Раньше здесь располагалась обычная школа, каких полно в Москве. Ее перевели в другое место, а сюда вселили вас, молодых людей, подающих в искусстве некоторые надежды. Недавно пришел ко мне обитатель соседнего дома. «Мы с нетерпением, — сказал он, — ждали юных художников. Хотелось посмотреть на этих вундеркиндов. Посмотрели. Они ничем не отличаются от других школьников. Только те дерутся портфелями, а эти деревянными ящиками».

Класс развеселился... На улице сентябрь, осень золотая. До математики ли? Но ребятам полюбили занятия у такого интересного педагога. А вот еще случай.

— Шумливый вы народ! — выговаривал без сердитости Евгений



Маркович.— Впервые сталкиваюсь с подобными бузотерами. Мне приходилось работать с трудновоспитуемыми подростками и переростками. Но вы другие. Интересная история произошла у меня с беспризорниками. В двадцатых годах я преподавал в детдоме. Там в шестых классах сидят верзилы лет по восемнадцати. Однажды при моем появлении они дружно запели блатную песню «Гоп со смыком». Знаете, наверное? Так вот. Задача на логику: что делать? Кричать, по столу кулаком громыхнуть? Нет смысла. Лишь раззадоришь, пение не прекратится. Даже наоборот. Какие еще есть варианты? Молча ждать, слушать. Устанут — перестанут. Но это тоже не пригодно. Певцы, чего доброго, вообразят себя артистами, пуще стараться начнут. К истине вел единственный выигрышный путь. Его-то я и выбрал — стал подпевать. Голос у меня ничего, баритон бархатного тембра, слухом музыкальным не обижен. Сперва переростки не обратили внимания, не удивились. А немного погодя стыдно стало, замолчали...

Учебная аудитория с первых дней располагалась на третьем, последнем этаже. Перед закрытой еще дверью, в полукруглом коридоре, где во всю стену окно, стоят школьники. Слева девочки. Рыжая с длинными до пояса очаровательными косами Мила Адамович. Держит в руках солидную, наверняка с серьезным содержанием книжку и беседует с Рошей Натаповой. У Роши прическа «под мальчика», голубые навывкате глаза, философичная физиономия. Ох, и повезло ей! Живет рядом со школой, в массивном новом доме на углу Каляевской и Садового кольца. Если говорить о девочках нашего класса, то одна умственнее другой, у всех отличная память и сообразительность. Наитруднейшие (с моей точки зрения) задачи по алгебре первыми решали они. Только списывай!.. По другую сторону коридора — мальчики. Спорят, озорничают.

— Ах ты мелочь пузатая!.. — Появляется Жаринов, за ним Коржев. Гелий хватает приятеля поперек туловища, приподнимает.— Хочешь, пузырь ты этакий, расколохмачу тебя об пол?..

Крошка Жаринов пищит, смеется.

Звонок. Дверь класса открывается. Ребята врываются, хлопают крышками парт, занимают привычные места. Безостановочный гул, грохот, смех. Нет никого, кто сидел бы молча, с закрытым ртом. Сегодня первый урок нового предмета

«Конституция». До сей поры не могли подыскать подходящего педагога. А вот и он — высокий, в рыжевато-коричневом костюме, с продолговатым лицом, острым носом и полулысиной, обрамленной по краям количественно незначительными волосиками. Фамилия его Александров.

Голос имел зычный. Входит в класс. Шум. Поздоровался:

— В ту же рошу и лесок, слышу тот же голосок! Кто сегодня в наличии?

Началась переключка.

— Батырь?

— Здесь.

— Портнов?

— Здесь.

— Карамян?

Карамян приподнимается, вытягивает вверх голову.

— Это я, Карамян.

— Садись. Шитов?

— Здесь.

— Ателье мод какое-то, Портнов — Шитов. Недожаров?

— Здесь.

Произносится это «здесь» вкрадливо, мягко, певуче.

— Жаринов?

— Здесь

А это «здесь» звучит звонко, вылетая из юной глотки Вовика с пискком.

— Подожди, подожди! Ты Жаринов?

— Так точно.

— А ты Недожаров?

— А как же!

— Чудеса, да и только. Ну и класс! Я советую вам всегда сидеть вместе, чтобы дополнять во взаимодействии противоположностей друг друга. Знаменский?

— Здесь.

— Тоже знаменитость, правда, спортивная. Паустовский здесь?

— Нет его.

С треском распахивается дверь, всовывается взлохмаченная сонная физиономия Паустовского.

— Можно войти? — интеллигентно спрашивает невыспавшийся Вадик.

Ребята аплодируют, учитель смеется.

Паустовский — длинноногий худощавый парень в серых гольфах, с обветренным лицом, персиковыми щеками, клювообразным носом и толстыми губами. Сын известного беллетриста. Типичный брюнет. Волосы темные, всегда непричесанные, глаза черные, загорелый.



Живет он в пятнадцати минутах ходьбы от школы, в Столешниковом переулке, но опаздывает ежедневно. Никак не способен пробудиться вовремя, чтобы успеть на первый урок, появляется ко второму. На доске приказов вскоре вывесили распоряжение: «Объявить ученику 3 класса «а» В. Паустовскому выговор за систематические опоздания».

Учитель Конституции непрерывно острил, сыпал поговорками, прибаутками: «Ты проснись, дитяtko, солнышко взoшло», «В те же ворота, с той же телегой», «Чем бы дите ни тешилось, лишь бы не плакало». Разве может не понравиться такой учитель?

Один существенный вопрос беспокоил: что делать во время переменок? Первые дни ребята вели себя кротко, понимая, что носиться, как угорелые, по коридорам — занятие детское. А они, то есть мы, вышли из этого возраста. К тому же суета, не говоря о суетливости, не согласуется с величавым званием художника. Что делать? Заработали умы «активистов». Лева Портнов предложил ясную, как пробка, идею. Ежели наша аудитория находится на самом верхнем этаже, то из окна можно плевать вниз, во двор. Хотя там никого не было, но плевались воодушевленно.

— Куда лучше кидаться мелом. И надежнее, ветер не сдувает. У меня, например, вся слюна вышла...

Стали швырять вниз куски мела. Иногда попадали в прохожих. Те поднимали глаза вверх, обозревали пустые школьные окна и не могли понять, что сие означает. Ребята, пригнувшись на корточках у подоконника, хихикали. Пешеходы, ни о чем не догадываясь, отправлялись дальше. Забава понравилась. Но лиха беда начало. Лева Портнов углубил прогрессивную инициативу.

— Кто ответит, — спросил он, — зачем у нас на окнах стоят цветы, да еще в горшках?..

Не сразу, но догадались. Сперва стебельки и веточки, потом земля, за ней и сам горшок — летели из окна. Резвились детки. Через несколько дней нянечка, убиравшая аудиторию, заметила, что ни в третьем «А», ни в соседних классах совершенно нет цветов с горшками. Были, да исчезли. В дело вмешалась учебная часть. Но и школьные наставники не смогли разобраться в этих загадочных обстоятельствах. Тем не менее, швырянье из

окон всевозможных предметов пришлось прекратить.

Чем же заняться на переменках? Анекдоты пересказаны по несколько раз, остряки-одиночки пыжились совершенствовать свое великомудрие. Тщетно. На переменках стало скучно. И тут проявил изобретательность Знаменский. Он повздорил с «маленьким паровозиком» Славой Манухиным. Выясняя отношения, Игорь случайно разбил в кровь ему нос. Слава Манухин внешне комичный. Все переменки напролет стали донимать его, злить, шекотать, рисовать на него шаржи. Но и это надоело.

Тут блеснул незаурядной находчивостью Вадик Паустовский.

— А ну, кто желает принадлежать к партии анархистов — ко мне! А кому по душе монархия — в сторону!

Создали две группировки. Численное превосходство неоспоримо осталось за «анархистами». От «монархистов» вскоре отреклись все. Существовали лишь «анархисты» и два «непримиримых большевика» — Коржев и Шитов. Что же делать?

Снова выручил Паустовский.

— Ребята, таких толстяков, как Манухин, я никогда не видел. Это уникам. Давайте качать Манухина!..

Предложение одобрили. Манухин был пойман. И несмотря на отчаянное сопротивление, несколько раз взлетал в воздух, болтая руками и ногами, чуть не задевая висевшие под потолком лампы в абажурах. Вслед за Славой Манухиным полетел вверх другой толстяк — Моня Миркин. Потом начали качать всех желающих. Ловили младших школьников, что были потолще. Мало кто возражал. Скоро возле дверей нашего класса выстроилась очередь добровольцев. Через несколько дней в аудиторию во время очередного шумного качания заглянул преподаватель черчения. Ему не понравилась эта коллективная bestолковщина. Он ловко ухватил двух ребят за руки, отвел к директору. Качания, увы, пришлось прекратить.

Оканчивалась первая четверть первого, самого первого нашего учебного года в Московской средней художественной школе, которую иногда именуют Школой юных дарований. Приятно, когда тебя (заслуженно или нет, другой вопрос) считают



дарованием. Но, к сожалению, количество учебных часов во второй четверти увеличили. Теперь ежедневно следовало отсиживать семь уроков. Занимались мы с девяти до половины четвертого дня. Многие ребята жили в другом конце Москвы, дорога туда-обратно отнимала время, силы, нервы. Уроки дома почти никто не делал. Начали использовать для этих целей милые сердцу переменки. Вместо беготни школьники чинно сидели на подоконниках, листали учебники, тетрадки с записями. Класс, сам того не ведая, сделался дисциплинированнее. Поумнели, что ли? Вряд ли. Или повзрослели? Это не исключено.

Но прежние затеи не забывали. Однажды Вадик Паустовский набил в аудитории камин бумагой. Поджег, а дверцу закрыл. Дымоход не работал. Печка оказалась никудышной. Из всех щелей и дырок повалил густой сизый препротивный дым. Что тут было! Пришлепала беспокойная завучиха. Узрев случайно оказавшихся возле печки, непричастных к этой дымовой затее, Алексеева и Недожарова, взвалила вину на них. По итогам четверти им снизили оценки за дисциплину.

После злополучной истории с печкой нас, третий «А», перевели в другую аудиторию, на второй этаж. В школе провели реконструкцию. На первом этаже разместили библиотеку, скульптурную мастерскую, кабинет химии, кабинет врача и только что организованный интернат — общежитие для иногородних. Раздевалка находилась еще ниже. Наш третий «А» вселили в аудиторию № 11. В этот период старостой нашим являлся Лева Портнов. Состоял он также и в общешкольном учкоме. Это парень боевой, беспокойный, с длинным носом, весьма нахальными глазами и скошенным подбородком. Ходячая карикатура. Он вечно бузил, пыжился по любому поводу (и без повода) острить, но страдал одним существенным недостатком — желанием во что бы то ни стало самоутвердиться. Поэтому и балаболит всякую чушь.

1940 год

В который раз предпринимаю попытку вести дневник. Вернее, фиксировать различные события. И не обязательно каждый день. Глупое, откровенно говоря, занятие. И зачем только это делают? Наверное, чтобы порассуждать с самим

собой — приятно иметь толкового собеседника.

Почему я сейчас пишу? Да потому, что мне тоже делать абсолютно нечего, сегодня предпоследний день школьных каникул.

Вот один фокус. Предлагаешь приятелю: «Нарисуй десять красноармейцев, купающихся в озере. Но условие одно — карандаш не отрывать от бумаги». Приятель, высунув язык, старается. Ты говоришь, что такое задание в момент можешь выполнить. Приятель не верит. Рисуешь на бумаге кружок. Приятель спрашивает: «Что это такое?» — «Как что? Озеро». — «А где красноармейцы?» — «Нырнули».

Моня Миркин сочинял композицию. Тема — очередь за газетами. Моня решил собрать предварительный материал, написать этюд из окна с натуры. Пока выдавливал краски на палитру, очередь в газетный киоск испарилась. Открылся универмаг, и все стремглаз бросились туда.

На уроке геометрии преподаватель Сорин спрашивает у ученика теорему про среднюю линию. Тот запутался.

— Средняя линия, — говорит, — если она параллельна основанию, делит треугольник пополам.

— Интересно! — замечает учитель. Берет мел, чертит на доске. — Дан, например, треугольник ABC. Делим его, согласно вашему оригинальному утверждению, по горизонтали на две части. Теперь попробуйте представить себе, что этот треугольник состоит из вкусного шоколада. Какую бы половину себе взяли?

— Нижнюю.

Когда 4 января 1940 года в нашей художественной школе состоялся новогодний карнавал, многие ребята пришли в маскарадных костюмах. Таня Лившиц появилась в допотопном, длинном, но вполне эффектном платье пушкинской Татьяны Лариной. К тому же, Таня щеголяла в черной полумаске. Было душно. Таня сняла маску. Знаменский тут как тут: «Лившиц!» — «Что?» — «Надень маску. Скорее, скорее!» — «Зачем?» — «А ты в маске красивее».

В магазине Осоавиахима гражданин покупает парашют. «А если, — спрашивает, — парашют не раскроется?» — «Существует дополнительный, запасной парашют,



поменьше. В случае чего, он подстрахует». — «А если и он не раскроется?» — «Тогда приходите, обменяем».

В метро. Народу много. «Гражданин, вы выходите?» — «Нет, меня выводят».

Разорвался у меня ботинок. На перемене, сев на парту, задрал ногу, я сосредоточенно осматривал образовавшуюся дырку. Подошел учитель по Конституции. Сострил:

— Сапог просит не только каши, но и колоний! Как сказал, если верить печатным изданиям, итальянский вождь Бенито Муссолини.

Рядом стоявший Игорь Знаменский вступился за меня:

— Совсем не так: этот сапог просит не только каши, но и отметки «отлично».

Когда наш учитель по Конституции замечал, что Игорь Знаменский балуется и вертится ужом на уроках, то с совершенно спокойным видом спрашивал:

— Кто сегодня дежурит по классу? Дежурный вставал.

— Посмотрите, пожалуйста,— советовал учитель,— нет ли на скамейке парты, за которой сидит Знаменский, рассыпанных гвоздей.

Знаменскому это наскучило, и он попросил меня найти несколько гвоздиков. Я вытащил из своего рваного ботинка два ржавых скрюченных гвоздя, да еще в кармане обнаружилась кнопка.

После урока Знаменский подошел к учителю.

— Вот,— сказал он, передавая гвозди и кнопку,— вещественные доказательства моей недисциплинированности.

Учитель, убеждающий ребят быть смелыми. «Даже если не знаешь урока,— поучал он,— отвечай так, будто все вы зубрил досконально. Говорить следует уверенно, громко, чтобы не возникало сомнений в твоих знаниях». Но сам он не следовал этим установкам. Ребят спрашивал часто, но понемногу. Если ученик первые фразы отгитараторивал быстро, дальше вопросов не задавал. Отвечать ему, после некоторой тренировки, было не трудно. Но мы его благорасположением не злоупотребляли. А вообще-то наш учитель по истории человек добрейший...

Вот еще один любопытный педагогический тип. Высокий, дородный, чем-то смахивающий на знаменитого шахматиста Акибу Рубинштейна (мною очень любимого). Голос громовой. Преподавал физику и географию. На уроках горячился, азартно жестикулировал, вытирал пот с лысины. А ребята мало что понимали, очень уж громко он говорил. По географии велел перерисовывать из учебника географические карты.

Ехал с Гелей Коржевым в метро. Видели человека, у которого нет кожи на лице. Это ужасно. Он в военной форме. Может, горел в танке? Волосы не растут. Губ и ноздрей нет. Глаз не существует. Вместо бровей красно-синяя полоса. Цвет лица светло-коричневый, полосами. Одна полоса рельефнее другой. Тяжело смотреть без содрогания. Рядом с ним женщина, наверное, жена.

На уроке Конституции ученик рассказывает про республику Армению. «Там водятся овцы». Учитель внимательно посмотрел на отвечающего: «Это ты сам придумал?» — «Сам».

Я с места: «Не овцы, а бараны!»

Учитель: «Сомневаюсь, только ли там бараны...»

Входит Геля Коржев в магазин канцтоваров. На прилавке лежит ластик. «Это что?» — «Ластик, стиралка». — «Сколько стоит?» — «Пять копеек». — «Я бы никогда его не сделал за такую дешевую цену».

На улице холодно. Стекла в трамваях заморозились, пестрят выцарапанными по льду надписями: «Меняю зиму на лето», «Меняю жену блондинку на керосинку», «Меняю жену сорока лет на две по двадцать», «Меняю мужа на стужу». Последнее, казалось бы, парадоксальное высказывание, пожалуй, самое остроумное. Дело-то в том, что при «стуже», морозе свыше 23 градусов, в школах занятия отменяются. А в том, что эти игривые надписи сочинены школьниками, нет сомнений.

Директор нашей школы П.Т. Мещеряков почти после каждого слова вставляет оборот «понимаешь ли». На собрании, где председательствовал, он умудрился это «понимаешь ли» произнести



120 раз. Может, даже больше, считать надоело.

— Как жаль, нет местов.

— Молодой человек, вы не знаете падежов!

— Черт бы взял мою прическу!

— Дьявол силен. Смотри накликаешь, станешь лысым.

Весна. Ура, ура! Какой заманчивый, можно даже сказать «зеленый» на улицах воздух. Все ожило, повеселело, быстрее задвигалось. Трамвай еще недавно ехал тихонечко. А теперь несется, тарыхтит, пассажиры друг другу улыбаются. С крыш домов сосульки висят, капли падают. Снег-то тает! Тротуары первыми обеснежились. Идешь, а по носкам ботинок фонтанчики хлюпают: хлюп-хлюп. Ох, и здорово! Машины брызгаются, плюются, дудят, шумят, идут, прут. Человечки повсюду, словно муравьи, копошатся. Неужели весна наступила? Как хорошо! Я даже забыл, что правый ботинок жмет, мозоль натирает.

13 мая 1940 г. Утром ездили в зоопарк, делали наброски. Я наблюдал рысь, изучал ее движения. Учитель опять ругал за то, что получается у меня все шаржированно. После занятий в зоопарке — ох, и не хотелось возвращаться в школу! Некоторые удрали, но я остался. На уроке немецкого языка бузотерили. На алгебре тоже. После уроков вместе с Гелей Коржевым отправился на Кузнецкий мост смотреть выставку произведений Н.М. Ромадина. Впечатления? Рисунок не очень-то твердый. Да и в живописи не все, как надо. Но отлично передает настроение. Вот, например, зимний пейзаж. Ничего особенного ни в мотиве, ни в цвете, ни в самом письме, а ощущаешь холодное, леденящее состояние природы. В других этюдах Ромадин пробует выразить грусть, задумчивость. Сразу видно — постоянно трудится, совершенствуется, много работает. Тематические композиции не понравились. Особенно огромное полотно «Физкультурный парад». Фальшивое.

Скоро экзамены. Сдавать их нет желания. Готовиться тоже лень. А на улице такая красотища! Иди и пиши этюды. Только белил цинковых нет. И времени тоже.

Хотелось бы порассуждать вот о чем. Что такое живопись? Стоит ли

заниматься ею? Если в музыке человек выражает свои чувства, эмоции, настроения, то живопись, как нас учили педагоги (и не только педагоги) призвана достоверно передавать окружающую действительность. Хотя лучше это делает литература. Правда, язык живописи интернационален, не требует перевода. Но все же, зачем она? Чего ради руки так и чешутся, а душа горит, подверженные этой эпидемии? Живопись — украшение? («Мне все равно, что писать: пейзаж или ножку от рояля», — сострил не помню кто, но кто-то чрезвычайно популярный.) Так почему же во все времена (а сейчас тем более) господствует реализм, то есть буквальное следование жизни? Но и здесь живопись бессильна, не все может. А сколько развелось художников, издано книг и трактатов! Сам я люблю живопись, стараюсь идти ее истоптанными и еще не тронутыми дорогами. Но неужели она нужна только для заработка, пополнения музеев, которые никто не посещает, и обеспечения кормежкой критиков-искусствоведов?..

В зоопарке.

— А почему эта птичка стоит на одной тоненькой ножке, и ножка не ломается? — Физкультурой по утрам занимается.

— Папа, это кто?

— Не знаю, но цапля.

Возле Игоря Знаменского стоял карапуз и высказывал критику по поводу его зарисовок.

— Невосприимчивый ребенок! — сетовал Игорь. — Представляю, какая у тебя мама и какой папа. Тоже, наверное, невоспитанные?..

— Знаменский, а у тебя родители, — защищал я карапуза, — воспитанные?..

14 мая 1940 г. Ничего особенного за день не произошло. Правда, на уроке географии случайно получил за четверть «отлично».

Прочитанное внимательно надолго остается в памяти. Но если думаешь о чем-то постороннем, можно десять раз бегать глазами по одним и тем же строчкам, ничего не понимая. Сидеть больше пятнадцати минут за чтением сосредоточенным, когда за окном птички поют, никак не получается, это выше данных природой сил. А дальше, как ни понукай себя, чтение все равно будет некачественным.



— Товарищи учащиеся! Поскольку вы все равно убежите, предлагаю открыть наше собрание сейчас же...

— Она съела кусок мяса, я ей дал еще кусок...

— Почему он ходит с ящиком?  
— Денег на портфель не хватило.

Школьник отвечает урок:  
— В Кара-Бугазе добывается соль. —

Учитель:

— Какая?  
Игорь Знаменский с места:  
— Английская.

— Наблюдайте, ищите, зарисовывайте характерные типы, следите за всеми проявлениями жизни и в сельской местности, и в городе. Как и где трудятся, как одеваются. И рисуйте постоянно, делайте наброски. Пусть это станет привычкой. Выдумать или, как говорят, «высосать из пальца» композицию нельзя. А высшая цель живописи — станковая картина. Натюрморты, интерьеры, пейзажи — лишь стадия работы над серьезной композицией.

Так нас учил педагог по живописи П.С. Хайкин.

— То, что зарисовали с натуры или только пытались зарисовать, укрепляет память, развивает воображение, заставляет зорче видеть... А это слова нашего учителя по рисунку А.О. Барща.

— Зачем мы учимся?  
— Чтобы учителя деньги получали.

Кто болеет ангиной, говорит: «Если ноги промочишь, горло шалит». А пьяницы говорят: «Если горло промочишь, ноги шалят».

Мерзавец — человек, который мерзнет.

Писал весенний этюд в Сокольниках. Подошли два малыша. Стояли за спиной, смотрели. Переговаривались на тему: чего он рисует? Один догадался. Тогда стали обсуждать, почему ничего не понятно. Первый мальчуган, более догадливый, выразил предположение: «Да это набросок!» — И убежали.

17 мая 1940 г. Последний день учебного года. Все семь уроков была живопись на пленэре. Расположился с этюдником на высоком берегу Москвы-реки в Коломенском. Подошли любопытствовать два парня. Пробовали угадать, что именно я изображаю.

— Вон тот сарайчик на барже, — сказал один. — Помнишь, мы туда за керосином ездили. Стащили, а потом загнали...

Облегченно вздохнул. Думал, критиковать начнут, ошибки выискивать. А у них такое своеобразное восприятие живописи...

До чего же приятно сидеть у реки с кисточкой, красками, этюдником! Серая беспокойная вода, дрожащие волны. Тучи низкие, ветер мокрый. Прическа развеивается, мешает работать. Холстик открепился. А воздух, какой воздух!..

Сдал письменный русский и алгебру письменную. По поводу зоологии есть сомнения. В течение года ничего не учил, лишь изредка брал в руки учебник, картинками интересовался. К испытаниям надо повторить все. Целый день с десяти утра до полуночи, с перерывами на жонглирование теннисными мячиками, занимался. Хотелось писать, рисовать, в кино сходить, прилечь отдохнуть, поспать, все что угодно, только не осваивать занудную зоологию. Мысль о том, что после сдачи экзаменов могу три месяца быть свободным как ветер, заниматься живописью, рисовать, посещать кино, играть в шахматы и больше ничем уныло-школьным не утруждать себя, заставляла упорно сидеть и учить, учить. В результате — «отлично». А может, «хорошо».

25 мая 1940 г. Мы с Г. Коржевым установили, что:

— Художник с длинными волосами, в замызанной красками куртке, с вдохновенно-тонким профилем и хило-недоразвитой, не спортивной фигурой — не художник.

— Художник не может быть только художником. Быть художником, смотреть на все лишь со своей профессионально-творческой колокольни и этим ограничиваться — нельзя.

— Художник только тот, кто помимо основной профессии имеет еще и другую, побочную. Таким образом, он может на мир смотреть с разных точек зрения, а значит, и



не замыкаться в узком кругу собственных интересов.

— Наши молодые мастера должны быть разумно физически развитыми и при этом сохранять ясную голову, жизнерадостность, не отрываться от коллектива, быть в курсе настроений общества. Ведь только сообщаясь с жизнью, являясь частичкой ее, здоровой физически и нравственно, веря в завтрашний день, они смогут воплотить в своих произведениях оптимистический настрой нашего времени.

— Живопись как профессия,— такого не может быть! Живопись — это побочное занятие, дополнительная профессия, основанная и обусловленная другой, никакого отношения к изобразительному искусству не имеющей.

5 июня 1940 г. Все! На душе легко, спокойно, солнечно. Три месяца свободен от учебников и уроков. Что хочешь, то и делай. Глаза разбегаются — чем же заняться. Вот ничего и не делаешь. Интересно наблюдать за теми, кто сдал экзамены. Едешь в переполненном трамвае по Стромынке. Выставишь шевелюру в раскрытое окошко. Ветер треплет волосы. По тротуару нарядные девушки шествуют. Идут из школы, улыбаются; судя по всему, никто из них не провалился на испытаниях. Озорной ветер колышет платица, разметает косы. Зубы блестят, носки белые сверкают...

В Музее западного искусства экспонируется портрет фабриканта Саввы Мамонтова работы Андерса Цорна. Того самого Мамонтова, которого писал Михаил Врубель. Цорну, конечно, далековато до Врубеля, но и его живописная манера поражает лихим письмом и аршинными мазками. Коржев рассказывал про этот портрет:

— Когда шведского маэстро спросили, почему на сюртуке Мамонтова он не изобразил ни одной пуговицы, Цорн ответил: «Я художник, а не портной!»

Правильно! Если деталь не нужна, выкидывай ее из работы.

12 июня 1940 г. Вадим Паустовский, когда делали в зоопарке наброски, рассказал весьма любопытную и поучительную историю.

— Не только я, но и японцы рисуют линией. Кистью или пером. Но так ловко, что линия в их работах способна выразить

бесконечно многое. Существует такая легенда. К одному художнику японцу пришел богатый заказчик, поинтересовался, может ли тот изобразить петуха. Самого обыкновенного. Художник подумал и ответил, что ему потребуется на это, ни много, ни мало, ровно год. Заказчик согласился. Приходит через год и видит: стоит в мастерской на мольберте большого размера нетронутое, натянутое на подрамник полотно. Художник тут же берет широкую кисть, макает ее в цветную тушь и несколькими уверенными касаниями кисти, всего двумя цветами — черным и красным — в мгновение выполняет работу. Петух готов. Да какой! Выполненный виртуознейше. Заказчик возмутился: «Что же вы на целый год отсрочили задание, ведь требуется-то всего несколько секунд!». Тогда художник повел заказчика в соседнюю комнату. А там от пола до потолка на полках теснились свитки с предварительными рисунками и этюдами. Тут же несколько скелетов петушиных, макеты, чучела. Только освоив в полной мере анатомию и пластику движений петуха, художник достиг такого совершенства, что мог изобразить эту красивую птицу в любом повороте, даже закрыв глаза. Тогда он посчитал, что готов выполнить задание...

В нашем классе есть ученик Петя Пинкисевич. Он прибыл из Ленинграда (ребята острят: войны с Финляндией испугался). Вчера на заключительном сборе в честь окончания учебного года он рассказал про художников-точкистов.

— В Петербурге до революции пользовался популярностью живописец Павел Филонов. Он принадлежал к группе аналитических точкистов, был бессребреником и необычайно творчески одержимым. Каждое тело,— рассуждал он,— состоит из клеток, клетки из молекул, молекулы из атомов. Задача заключается в том, чтобы найти цвет каждого атома. И передавать мир не снаружи, а как бы вырастающим изнутри. К тому же, метод работы Филонова был не от общего к частному, как нас учат, а наоборот, от детали к целому. Он вел одно время занятия в Академии художеств. Когда его оттуда изгнали, образовал собственную школу. Талантливая молодежь стала ходить к нему домой на занятия. Филонов обладал большим обаянием и как личность, и как художник, и огромной силой убеждения. Тем



не менее, кое-кто из его учеников впоследствии отrekliсь от его принципов...

Так, приятель Пинкисевича, который был отменным рисовальщиком, к тому же чрезвычайно самоуверенным (считал себя не ниже Рембрандта и Тициана), попал под сильное влияние Филонова. Он писал портрет своей матери восемнадцать сеансов, а закончил лишь верхнюю часть головы, все старался с предельной тщательностью изобразить извилины кровеносных сосудов и жилок, что под кожей на лбу, висках, щеках. На этом портрете только в зрачках глаз можно было различить десяток разноцветных точек. Но детали эти не смотрелись противно, были соотнесены с целым. «Упорно и точно рисуй каждый атом» — этот завет Филонова стал его девизом. Он и свой автопортрет создал, против света. «Как у Кипренского,— заметил ему Пинкисевич,— тоже в контражуре». — «Что мне твой Кипренский,— отвечал точкист,— такой фон зеленый, как у Кипренского, каждый напишет. А ты попробуй сделать, как у меня». На автопортрете точкиста в качестве фона захвачена часть стены со штукатуркой, выписанной дотошно, мельчайшими точками. Но здорово, ничего не скажешь. У него есть композиция, где на первом плане две очень крупные головы. За ними — здание, удаляющееся к горизонту. Перед зданием очередь в пивную палатку. В окнах дома разные бытовые сценки. Кто чай пьет, кто газету читает, кто под патефон танцует. Пинкисевич спросил: «Зачем столько подробностей?» — «Я хотел показать,— ответил точкист,— что находится снаружи, на улице. И, одновременно, что происходит внутри здания». И опять — точки, точки. Наши педагоги сказали бы — формализм. Приятель Пинкисевича показал свои рисунки Игорю Грабарю. Тот посмотрел, покачал головой и сказал: «Таких рук в Москве никто не нарисует». Филонов был жестким и требовательным педагогом, многим своим ученикам «сдвинул мозги», испортил будущее. В Академии художеств одного из способных его студентов даже не допустили к защите диплома. Он представил эскиз, выполненный по-филоновски, точками цветными...

1 сентября 1940 г. Утром отправился на улицу Заморенова к своим пионерлагерным друзьям. Играли в волейбол, фотографировались, пробовали учиться танцевать вальс-бостон и румбу.

Подкрепившись чаем и бутербродами, поехали на стадион «Динамо». У приятелей моих были билеты, я рассчитывал приобрести возле стадиона. Играли две знаменитые команды — «Динамо» и «Спартак». Билет купил с рук за пять рублей. Это ровно в десять раз больше обычной его цены. Тут же мне предложили обменяться билетами. В итоге я попал на 42-й ряд Восточной трибуны. У моих друзей билеты на 40-й ряд. Недолго думая, уселись вместе. Перед началом проводились соревнования легкоатлетов: прыжки в длину и высоту, бег на разные дистанции. Стометровку быстрее других преодолел Головкин, за 11 секунд. Наконец, началась игра, первый тайм. Динамовцы атакуют. С первых минут возникло несколько острых моментов. Но замечательно играли спартаковцы — Акимов и Василий Соколов. Еще прорыв. Соловьев бьет по воротам. Акимов отбивает. Мяч попадает к Сергею Ильину. Ворота пустые. Ильин с поворота бьет — мимо! Почти полностью Восточная трибуна болеет за «Динамо». Бесперывные возгласы одобрения или разочарования. Впереди нас сидели два спартаковских болельщика. Они не успевали огрызаться на ехидные замечания, чуть до кулаков дело не дошло. Семичасный прорывается в штрафную площадку спартаковцев. Вратарь Акимов снимает мяч с ноги. Наконец, после отличной комбинации, мяч у Михаила Якушина. Один на один с вратарем. Спокойно, тихим ударом забивает гол. Динамовские болельщики прыгают от восторга... Пенальти в ворота «Спартака». Бьет Семичасный. Акимов в блестящем броске вытаскивает мяч из самого угла. Аплодисменты, крики удивления... Второй тайм. Мяч у Якушина. Пяткой откидывает назад Ильину. Тот красивым ударом делает счет 2 : 0 в пользу динамовцев. Прорыв Соловьева. На него кидается Виктор Соколов. Соловьев обманным движением обходит его и сильно бьет в верхний угол ворот. 3 : 0. Мои друзья, болельщики «Динамо», ликуют. Я думал, что в порыве радости их туловища отделятся от конечностей и улетят в небо, вместе с голубями... Станкевич хватает мяч рукой. Малинин уверенно реализует пенальти. Вратарь динамовцев Фокин даже не пытался, как говорится, «рыпнуться». 3:1. Спартаковцы воодушевляются. Но очередной прорыв динамовцев. Семичасный доводит счет до 4 : 1. Затем Соловьев увеличивает количество забитых



мячей — 5 : 1. Полный разгром! Динамовцы словно балуются со «Спартаком». Матч окончен.

Спартаковская болельщица вздыхает:

— Когда я сидела на Западной трибуне, «Спартак» либо выигрывал, либо ничью делал. Сегодня угораздило меня взять билет на Восточную. И моя команда проиграла. С треском! Вот я несчастная, вот я дуреха! Надо же было на Восточную садиться...

Началась потасовка. Как же без этого! Кто кого бил и с каким эффектом, разобрать было трудно. Вроде бы болельщикам «Спартака» досталось больше.

Со стадиона шли пешком. Около Белорусского вокзала молодой парень спросил про исход матча.

— Пять — один? Не может быть, вот это да! А кто играл? Алексей Соколов тоже? Это ведь мой брат. Приду домой, отлуплю его, чёрта этакого. Играть не умеет. А хвастался вчера: «Мы им врежем!». Врезали. Позор какой! Значит, «Спартак» плохо играл?..

Брат Алексея Соколова оказался симпатичным и разговорчивым. Мы долго беседовали о футболе и жизни. Зашли в булочную. Купили буханку белого хлеба. И тут же съели...

Каникулам конец. С завтрашнего дня надо приниматься за учебу. А я еще учебников не покупал.

2 сентября 1940 г. День одновременно и поганый, и хороший. Поганый потому, что приспела пора братья за изучение таких занудных предметов, как немецкий язык и химия. А хороший потому, что наконец встречаюсь с одноклассниками, начнутся занятия по живописи, рисунку. А это сейчас самое главное и интересное.

Итак, в школу! Опять утренние, переполненные пассажирами, трамваи. Снова висение на подножках, толкотня в метро.

Школу обновили, выкрасили стены, подоконники, парты починили. Стало уютно, красиво, но... тесновато. Не то что бы ребята сильно пополнили за лето, а потому, что резко прибавилось количество учащихся. Было свыше тысячи заявлений, приняли после жесткого конкурса 60 человек. Теперь в школе аж 400 (или что-то вроде того) вундеркиндов и вундеркиндш. Какой

внешний вид, какие шальные прически! Обхохочешься. Есть весьма колоритные персонажи. Курчавые, чуть не до плеч, космы, бархатная куртка, небрежный широкий бант на шее, брюки расклешенные. Чего еще надо, артист! Пиши автопортрет скорее и тащи в галерею Уффици.

Школа обрадовала новым расписанием уроков, новыми директором, завучем, некоторыми учителями. По теперешнему расписанию мы в шестидневку должны два дня заниматься по восемь уроков, а в остальные дни по семь. Не было печали! Вряд ли будет вольготнее, чем в прошлом году. Даже наоборот. Ну, а директор поразил. Небольшого роста, со светлой шевелюрой и такими же узкими усиками, голубые сердитые глаза, энергичная, размашистая походка. С таким директором не пошутить. Тем более, он вроде бы немец — Николай Августович Карренберг. Завуч — полька, Наталья Викторовна Стасевич, мать нашего одноклассника Миши Стасевича. Рост средний, лицо худое, костлявая, как на шарнирах. Резкие движения, немного разболтанная, нервная походка. Она у нас будет вести литературу вместо ушедшего очень славного и милого предыдущего нашего педагога, поэта-песенника эстонца Николая Васильевича Кооля, с которым мы, школьники, сдружились и вытворяли на его уроках что хотели.

Очередное развлечение наметилось — издеваться над Монею Миркиным. Маленький, с розовым ребячьим личиком и прической «под бокс», он вдруг заговорил басом.

— Монечка, ну, скажи что-нибудь! Скажи: «ма-ма»! Моня басом:

— Ну, отстаньте!..

Голосок у него сиплый, как у испорченного граммофона.

Жалели Мишу Стасевича. Надо же, такая серьезная у него мама. Бедняжка! Слава Манухин, толстяк с перпендикулярной прической, превратился за лето из паровоза в гибрид паровоза с троллейбусом. Прическу сбрил.

Вадим Паустовский еще не пожаловал. Как всегда, опаздывает. Но и без него предостаточно было бузотерства.

Ввели актуальный по нынешним временам предмет — «Военное дело». Учитель — без пяти минут зверь. Отчаянно и



безостановочно орет. Оправдывается: «Именно так надо отдавать команду!». Наверное, зимой, когда похолодает, он охрипнет. Новая преподавательница по географии понравилась: обожает поговорить, не остановишь. Но строгая.

Прошли первые уроки рисунка. Делали наброски головы человека. Наш учитель — Александр Осипович Барщ, бодрый, веселый, росточка (других не берут, что ли?) тоже мелковатого. К тому же у него из ушей и ноздрей торчат длинные рыжие волосы, а на шее шишка. Из трех (по академическому часу каждая) зарисовок у меня получилась (более или менее) лишь одна. Остальные испортил. Завтра — живопись. Ура! Жду с нетерпением.

5 сентября 1940 г. Уже несколько дней идут занятия. А Игоря Знаменского, Пети Пинкисевича и Вадика Паустовского все нет. Три самых отъявленных бузотера, среди которых один сверхлентяй — Пинкисевич. Нет и нет...

Евгений Маркович Сорин обрадовал нас, объявив, что не собирается перегружать наши юные, забитые творческими заботами головы, математикой. Он будет задавать по одной задачке в день, минут на десять. Всего-то дел! В шестидневку это составит 60 минут, ровно час. Но условие, и непременно, одно — заниматься! По алгебре ребята заметно подтянулись.

Появился новый педагог по черчению, уникально восточного облика. Нос оригинальнейший, длинный-предлинный, с закорючкой на конце. Не нос, а коромысло. Ходит в белых брюках и имеет привычку ставить правую ногу на пятку, устремив носок ботинка ввысь. Чрезвычайно вежлив и вовсе не строгий. Ребята его не слушаются.

Преподаватель химии — коренастый, невысокого роста, пожилой. У него плешь изрядная, прикрытая редкими волосиками, узкие, продолговатые глаза. Хромает. Но уроки ведет интересно, в форме беседы. Ребята чувствуют себя свободно, не злоупотребляют покладистостью учителя. Он рассказывал, как в Баку добывали из морской, испорченной нефтью воды, йод. «Химик,— решил наш класс,— хороший парень!..».

Уже дважды были занятия по живописи. Летом я ленился, писал мало, пробездельничал каникулы. В классе быстро

и бестолково измазюкал холст. В последующие часы мучительно перемазывал и перedefывал. Хайкин снова призывал к работе более темпераментной.

— Ведь ты,— говорил Павел Самойлович,— молодой и кудрявый. Даже если учитель советует писать в благородной серой гамме, ты должен возражать, не соглашаться, стремиться к декоративной насыщенности. Глянь на колористический состав постановки, сравни со своей картинкой. Там цветы-то живые, и писать их надо живо, в полную силу, чтобы цвет звучал, чтобы жизнь была. А у тебя мать какая-то, не цветы, а картошка!..

Он берет у меня кисть, по всей палитре размазывает краски. Тон нужный ищет. Быстро прокладывает мазком найденную смесь на холст. И снова — к палитре. Наконец, минимальные проблески понимания, что же такое живопись, доходят до меня. Продолжаю самостоятельно.

— Вот, вот! — подбадривает Павел Самойлович.— Лучше становится, вернее. Но...

И снова выискивает недостатки. Через какое-то время:

— Ладно, кувшин больше не трогай. Достаточно!.. — Но мне кувшин не нравится. Берусь поправлять его. И порчу. Пытаюсь выправить. Но до конца урока не удается. Оставил на следующий сеанс.

Показал Хайкину летние свои этюды: «Водовозная бочка», «Могила» и другие, сделанные в пионерлагере.

— Каждый из этюдов,— сказал Павел Самойлович, сам по себе хорош. Но когда поставишь их вместе, получается одинаковость колористическая, такая мутно-зеленая гамма. В природе-то все богаче, насыщеннее, ярче...

Одним словом, попало мне. Наслушался критики. Если бы, как советовал Геля Коржев, показывал этюды не все сразу, а по одному, последовательно, то, наверное, получил бы другую, положительную оценку.

На Охотном ряду наблюдал интересного субъекта. Жара, солнце. Потoki машин, свистки милиционеров. У входа в Малый театр сидит мужчина азиатской (туркмен, таджик?) наружности. Темно-бронзовое лицо, в мелких морщинках лоб. Одет в ватную куртку, теплые штаны, мягкие, из светлой желтой кожи сапоги, на которых нахлобучены потрепанные галоши. За



плечами мешок, должно быть, с пропитанием. Вид помятый, усталый. На голове черная фетровая шляпа. Занятная картина! Неужели приехал смотреть пьесы А.Н. Островского?..

7 сентября 1940 г. «Папа, завтра будет праздник!» — «Праздник, праздник — говорят». — «Все равно, какая разница, лишь бы дали шоколад».

Шумели на уроках. Завтра выходной. Куда ехать на этюды? Исписали предложениями классную доску. Так и не договорились. На последнем уроке живописи решили — в Пушкино. Геля Коржев там бывал, все знает.

— Люциан,— попросил он меня,— уговори поехать с нами девочек. Выбираем тебя полномочным делегатом.

Миссия увенчалась успехом. Согласились Мила Адамович, Роша Натапова, Клара Власова и Ника Гольц.

8 сентября 1940 г. Серое прохладное утро. Народ толпится у Ярославского вокзала. Условились встретиться возле расписания поездов. Смотрю, сидят: «крошка» Коржев и пригорюнившийся Карамян. Сзади них, словно солнышко утреннее, с ярко рыжими косами Адамович. На часах без трех минут восемь. Поезд отправляется через семь минут. И тут разом появились Женя Батырь, Сева Ильинский, Вовик Скумпе, Натапова и Власова. И так, нас девять человек. Скумпе побежал за билетами.

— Вот, ребята,— сказал он, вернувшись,— восемь билетов и сдача.

Справедливость установить попытался Карамян.

— Сколько ты взял билетов?

— Восемь.

— А нас сколько, можешь сосчитать?

— Ой, ой!

— И чему тебя только в школе учат!

Еле успели уладить недоразумение.

Сели в вагон, двинулись. Меньше, чем через час, прибыли в Пушкино. Пройдя через дачный поселок, оказались в лесу. Хорошо-то как! Грибов видимо-невидимо, только наклоняйся. Заботливый Костя Карамян старательно рассовывал собранные грибы по карманам. Решили немножко размяться, поиграть в мячик. Он тут же закатился в лужу. Я героически и не без артистизма прыгнул, рассчитывая лишь слегка поддать его ногой, а самому остаться сухим. Но

поскользнулся и шлепнулся в лужу, перепачкав в грязи брюки и ботинки.

А вот поле огромное, желто-охристое. Осенний сенокос. Лошадки, увозящие сено. Вдали болото, стадо коров. А сверху давящее серое, живописно красивое небо. Хотели было остановиться, начать работать. Но передумали. Лошадки уйдут, коровы разбредутся. А впереди еще наверняка немало интересных мотивов.

Наконец добрались до такого места, которое всех устраивало. Коржев по болотным кочкам, словно Иван Сусанин, но не зимний, а осенний, привел нас к зацветшему заболоченному озеру. Небо опрокидывалось в воду, искрилось маленько. Солнце то и дело выглядывало сквозь тучки, превращая печальный водоем в сказочное зрелище. Посередине озера нечто вроде острова, к которому мы и направились.

Странное ощущение испытываешь, когда с качающейся кочки ступаешь на свежее-зеленую, такую, казалось бы, цветущую травку, и вдруг кочка утопляется вниз, и остаются торчать лишь верха ботинок, остальное жадно засасывает трясына. Но все же умудрились расположиться. На островке вся-то флора — несколько хилых сосенок и березок, кустики и осока в преизбытке. У горизонта синеватая полоска леса. Над нею прорывы слепящего неба. Куда ни глянь, везде замечательно. Но садиться-то на что? Взобрался на сосенку тощую. С треском она надломилась, я плавно опустился на землю. Решил повторить маневр. Деревце (а это при ближайшем рассмотрении оказалась не сосенка, а березка) так раскачивалось, что Сева Ильинский предупредил:

— Тише, тише! Вся суша трясется. И себя и всех утопишь...

И верно: от колеблющегося нашего островка волны по озеру шли. На чем же сидеть?— Стоя работать невозможно. Мольбертов нет, стульчиков и табуреток тоже. А на дереве и горизонт повыше, и устроиться сидя можно. Снова полез на дерево, снова шлепнулся. На этот раз спиной. Почва островная оказалась приветливой, упал как в перину. Правда, пришлось штаны сушить... Мирно, тихо, с эпизодическими остротами, чаще в адрес рыжеволосой Милы Адамович, принялись за живопись. Коржев называл Адамович «фитильком», я — «помидорчиком». Остальные более художественно: «кадмием оранжевым». Коржев болельщик «Спартака». Не



переставая темпераментно елозить кистью по прикрепленному к крышке этюдника продолговатому холстику, он начал распространяться о великих и несомненных, на его взгляд, преимуществах и достоинствах спартаковской футбольной команды. Я защищал, ни за кого конкретно не болея, от его нападков спортивный клуб «Динамо». Вскоре отставили споры, увлекшись полностью живописанием... В полдень развели костер. Воздух чистый-чистый. Кругом тихо. Дым от костра направлялся к Вовику Скумпе. Он то и дело кашлял и добродушно ворчал. Я же умудрился прожечь дырку в брюках, пока сушил их на огне.

Натапова живо начала этюд. Но тут же испортила. Коржев мазал широко, не обращая внимания на мелочи. Я же, наоборот, шел, как говорится, от детали...

Не без смеха возвращались домой. Бедной Адамович, главной мишени наших попыток остроумничания, снова досталось.

На станции купили три бутылки сидро. Преподнесли одну девочкам. Те отказались. Пили сидро вкруговую, наподобие курения трубки мира индейцами. В следующий выходной день (скорее бы он настал!) определили поехать на этюды опять вместе. Но уже на целый день, взяв рюкзаки и еду.

Первая совместная поездка оставила приятное впечатление. Запомнился вкус брусники, тенистый лес, ручейки и канавки, болото, листва пышно-осенняя, бодрящий воздух. Ну, а о пользе занятий живописью на природе (это называется пленэром) и говорить нечего.

9 сентября 1940 г. Сегодня вместе с преподавательницей скульптуры ездили в зоопарк. Я и Коржев уселись около площадки молодняка, лепили из пластилина медведей. Занятные зверюшки! Можно целый день, не скучая, глядеть на этих простодушных, игривых, смышленных медвежат. Вставая на задние лапки, они открывали дверцу, закрытую на крючок. Забирались проворно на столб, с верхушки которого брызгал фонтан. Закупорив лапами отверстия для воды, а потом отставив лапы, сидит мишка блаженно, весь мокрый. Палки деревянные грызли, дрались — кому достанется. Играя, старались укусить понарошку друг друга в морду. Наблюдая все это, мы, Гелий и я, умудрились, тем не менее, что-то вылепить. Наслушались замечаний

посетителей.

— Эге, два скульптора! Вы скульпторы?

— Хуже.

— Ничего, ничего, не огорчайтесь. Может, что и получится... — Или такой отзыв:

— Папа, смотри! Там мишка и у дяди мишка. Из замазки... — А вот еще. Кавалер с умным видом комментирует барышне:

— Грубо, но сходство имеется...

Созданные нами скульптурные опусы надо было везти из зоопарка домой, а потом в школу. Но в транспорте толкотня, могут их повредить. Вместе с Валею Пурыгиным (он живет в школьном интернате) добрались пешком до Каляевской улицы, передали скульптурки, чтобы он занес их в школу. Ну, а завтра отдадим скульпторше.

Весь сегодняшний день торчал на открытом воздухе: в зоопарке, гуляя пешком, вися на подножках трамвайных. Полученный накануне пленэрный насморк почти выветрился. Этому рад, ибо завтра будет живопись. На первом уроке должно состояться обсуждение наших натюрмортов. Я свой переписал в последний раз широченными мазками, в «стиле Врубеля». Как мне представляется, немного улучшил. Впрочем, поживем (если быть более точным — поспим), а утром увидим.

12 сентября 1940 г. За натюрморт и аршинные мазки свои получил «посредственно». Что ж, пожалуй, справедливо. Удачнее других это задание вышло у Коржева и Миркина. Оно и понятно: Коржев и Миркин не бездельничали летом, много работали. Приволокли они Хайкину ворох этюдов. У Коржева увлечение — во всю мастихинит (пишет не кистью, а ножом для красок). Но тон и цвет берет приятно. Мне, да и не только мне, понравились новые его работы.

— Это я, Павел Самойлович, — объяснял Гелий незавершенность этюда, — поспешил. Только под вечер сел с этюдником. Глядь, а на меня корова надвигается, махая рогами. Я быстрее тушеваться оттуда. Вот и не закончил...

Про другую работу:

— Тоже поторопился. Начал этюд, а тут дождь как хлынет, словно из ведра. Ну, а под ливнем работать не улыбается. Все же что-то успел...

Хайкин улыбается. Ему Коржев нравится. Добрый, простоватый, этот



здоровенный высокий детина, с хитрецей смотрящий из-под шевелюры на учителя сверху вниз. В буквальном, а может, и в переносном значении. Речь свою, забавную и остроумную, он пересыпает замысловатыми, имеющими для него определенный смысл словечками типа: «огурчик», «крошка».

— Был я в Пушкино, — рассказывает Коржев. — Иду, как огурчик, по шоссе. За спиной на длинном ремешке этюдник, в руках палка. Видик, должно быть, странноватый. Вылитый урка. Вдали вырисовывается, отделяясь от горизонта, старушка. Одуванчик одуванчиком. Глянула на меня, перепугалась — и хоп, скорее тушеваться!..

Сегодняшним утром на трамвае номер десять я доехал до метро «Сокольники». Только слез, смотрю: трамвай номер четыре, который идет до Каляевской, уже сдвинулся с остановки. Впрыгиваю на ходу. Кондуктор ко мне с претензиями, как к взрослому:

— Гражданин, обязательно надо прыгать?

— А как же! Кому ж приятно, когда перед носом трамвай уходит. Да такой редкий, как номер четвертый.

— Подождали бы следующего. Тот уж без вас не уйдет.

— Трамвай — нет, а время уйдет. Впрочем, дайте мне билет за 15 копеек, до Каляевской.

— Вагон следует до Вокзальной площади.

— Вот так фокус!..

Приготовился спрыгнуть с задней площадки. Кондуктор преградил дорогу. Пришлось прыгать с передней. Ну, а потом пересел в прежний трамвай № 10, где встретил Митю Дмитриева. С ним и доехал до школы.

Сейчас появились новые порядки: берут штрафы по три, даже по десять рублей за нарушения уличного движения.

Как хорошо, скоро выходной. Да здравствует еще одно осеннее воскресенье! Опять отправимся писать этюды за город.

15 сентября 1940 г. Рано утром собрался на этюды. Договорились встретиться там же, что и в прошлый раз, у железнодорожного расписания на Ярославском вокзале. Дали обещание: Натапова, Власова, Адамович, Коржев, Карамян, Портнов, Скумпе. Когда я с

опозданием на четверть часа появился, там было всего два человека: Коржев и Карамян. Стали вместе ждать. Никого! Потом уже выяснили: Натапова проспала, Власова совсем было собралась, оделась, но ее не пустил отец. Остальные тоже нашли причины. Но мы не унывали, укатили в Пушкино втроем. Я предупредил, что покину их раньше, у меня сегодня билет на стадион «Динамо», где играют «Спартак» (в усиленном составе) и сборная по футболу Болгарии.

От станции повернули влево. Вскоре набрали на озеро. Пустынно. Вокруг нет деревьев, только кусточки да пенечки. Устроились. Я писал Коржева. Было холодно, куда холоднее, чем в прошлое воскресенье. Сидели на земле. Резкий ветер дул с озера. Прогноз, устроили концерт. Прыгали, руками размахивали, во всю глотку песни горланили. Иногда проводили соревнования по бегу, чтобы согреться. Пробовали развести костер. Не вышло, мешал ветер. Коржеву даже глаз «надуло». В полном смысле слова. Но все же, преодолев немалые трудности, создали, вернее, нашлепали по этюду. Я заторопился в Москву, на стадион. А Коржев и Карамян пошли искать следующее живописное место.

По дороге на станцию есть небольшой через ручей мостик с выломанной серединой. Страшно смотреть, как прохожие, особенно пожилые, пробираются по нему, держась за хлюпки перила. Маленькая девочка метко высказалась:

— Его починят, когда кто-нибудь утопнет!..

16 сентября 1940 г. Сегодня Коржев пришел в школу с черной повязкой на одном глазу, как Билли Бонс из фильма «Остров сокровищ». Результат поездки на этюды, как говорится, на лице. Было вместо восьми всего шесть уроков. Не состоялись занятия по скульптуре. После уроков играли на школьном дворе в футбол.

Погода в Москве типично осенняя. Небо очаровательное: серое с синевато-оливянными оттенками. Деревья поочередно начали желтеть. Тихо, прозрачно, хорошо, и все «как будто в тумане»...

17 сентября 1940 г. На днях у нашего пионерского звена состоялся сбор. Вожатый Анатолий — с черными усиками, пижонистый, узкоплечий, физически недоразвитый — решал с нами вопрос: что



делать звену в ближайшем будущем? Постановили: прежде всего, начать ходить в красных пионерских галстуках. Кроме того, куда-нибудь, лучше подальше, летом уехать. На край Московской области, например, где речка Ока, или на Украину. Недели на две-три. Я оспорил такое предложение мало реальное — питание-то, да еще на весь срок, придется тащить на себе. Вводится также новая пионерская форма. И еще. Теперь пионерлагеря будут только палаточными. Обслуживающий персонал сокращается до предела (начальник, повар, завхоз, технический работник). Обязанности содержания лагеря возлагаются на ребят. Они станут хозяйничать, приобщаться к самостоятельности. Авось, пригодится в жизни. Конечно, если вожатый, как всегда, не перепутал, эти нововведения приятны. Надо иметь в виду лишь одно — в такие лагеря нельзя брать детишек младшего возраста. Вот тогда лагерь действительно будет замечательным! А может, это очередная фантазия нашего выдумщика-вожатого?..

Вчера после уроков (два последних не состоялись) попросили у Анатолия мяч, чтобы поиграть в футбол. Он выдал на мое имя. Двор у нас маленький, непригодный для массовых действий. Трудно даже назвать его школьным. Вместо ограждений и заборов — стены, окна жилых домов, да овощная палатка, возле которой неизменно очереди. Игру начали осторожно, ни одного окна не разбили. После окончания мяч относить Анатолию было лень, набегались изрядно. Передал нянечке. Сегодня подходит ко мне Анатолий.

— Ты кому отдал мяч?

— Нянечке.

— А у кого брал?

— Я горопился.

— Хорошо. Больше ты его не получишь.

Не получу, так не получу. Но играть-то все равно буду, получают другие.

— Где твой пионерский галстук?

— У звеньевого. Он еще не раздавал их.

Анатолий пошел отчитывать звеньевого Мишу Стасевича. Тот, исправляя свою ошибку, вынул из кармана для меня галстук.

Все переменки, воодушевленные вчерашней тренировкой, резались в футбол. Наш класс сражался с четвертым «б». Выиграли мы. Играли без тактического рисунка, гоняясь всем шалманом за мячом,

мешая друг другу. Зрители, лишь попадал к ним мяч, тут же выказывали свое мастерство, лупили сразу по воротам. Такое времяпрепровождение переменок показалось куда более приятным, чем чинное сидение в аудиториях и коридорах. Разгоряченные, возвращались после игры в класс и без особого воодушевления осваивали премудрости учебных предметов.

Сегодня появился приехавший с юга, чрезвычайно загоревший Вадик Паустовский. Горячо встретили его.

На уроке русского языка Наталия Викторовна Стасевич исписала всю доску предложениями без знаков препинания. Вызвала Бориса Стариса.

— Расставь знаки. Пропустишь хоть одну запятую, получишь «плохо».

— Ставьте сразу.

— Учите, ребята, это задание — своеобразная мышеловка. — Я вставляю с места:

— А кошка где?

Наталия Викторовна сделала вид, будто не расслышала. Наговорившись, вызывает меня к доске.

Я причесался, иду. Запятые, конечно, все не смог расставить правильно. Но «плохо» не получил.

Мой брат придумал вместо дурацкого моего имени Люциан — другое, попроще: Людмил. Спрашивает:

— Что ты делаешь, Людмил? — А я отвечаю:

— Рисую, крокодил...

20 сентября 1940 г. Скоро выходной. И это радует. У нас появился новый учитель по истории. Сидим в классе. Звонок уже отзвенел. Открывается дверь, и входит качающейся походкой толстый, с густыми, как у пана Пилсудского, усами, очками в роговой оправе и оттопыренной нижней губой, этакий Карабас-Барабас. Зычным, цыкающим басом он поздоровался с нами в иронично-веселой манере. В классе хохот — много ли нам надо! Такое впечатление, будто он нарочно неестественным голосом гаркнул на нас. Реакция класса несколько не удивила его. Я с горечью подумал: нет, ему не установить порядка, не совладать с нами. Молча дисциплину не наведешь, а если учитель раскроет рот и хоть слово вымолвит — ребята не удержатся от смеха. Но новый историк превзошел все ожидания. Простой, великодушный, всегда жизнерадостный, он



быстро подчинил и усмирил ребят.

— На чем мы остановились?

Ему сообщили. Учитель тут же, без всякого раздумья начал рассказывать дальше.

— Ребята, если я буду слишком много и утомительно для вашего не совсем зрелого сознания говорить, — сообщил он, — останавливайтесь, не церемоньтесь. Спрашивайте, если что не понятно. Не стесняйтесь прерывать вопросами. Даже подсказками. Это не только можно, а даже нужно. Меня не обидите. Наоборот, можете провести урок живо...

Предмет «история» у него — сплошной анекдот, но не развлекательно-пустяшный, а серьезный, подчас с сатирическими образами. И все понятно: факты, основная сущность событий.

— Я рассказывал, рассказывал, — делился с нами учитель, — а вы слушали, слушали. Но так мне никто ничего не подсказал и никто не перебивал. А зря...

На уроке я и Роня Зархин переписывались записочками. Например: «Зархин Роня — дурак и тихоня», «Шитов Люциан большой болван». На это ругательство я ответил: «Роня, не надо грубить, по себе о других судить».

А недавно на уроке физики, когда наш педагог рассказывал про особенности понятия «свет», слово попросил Лева Портнов.

— Все предметы, — сказал он, — отражают свет. Даже вечером и ночью. Но тогда и кошки тоже отражают свет. Значит, они в полной темноте видят?..

Портнов, когда задает вопрос, вытягивает жирафообразную свою шею, поднимает подбородок вверх. При этом выражение его физиономии подхалимское. Ребята кричат ему:

— Откуда ты знаешь, ты кошка?

Игорь Знаменский скромно вставил:

— Ему мама сказала...

Учитель физики у нас тот же, что и в прошлом году, не заменили. Первые его уроки проходили шумно, ребята озорничали, всерьез никто не интересовался предметом. Но физик постепенно добился послушания, сделал уроки занимательными. Я не перебарываю точные науки, к которым отношу и физику, но знаю этот предмет вполне сносно. Да и уроки физики всегда

проходят не скучно. Вот учитель рассказывает про инфракрасные лучи. Я поднял руку, задал вопрос:

— Можно ли загорать без солнца, пользуясь, например, нагретыми электроутюгами?

Физик сперва высказался о том, в какое время шутки уместны, а в какое нет. Потом сообщил, что нежелательно путать инфракрасные лучи с ультрафиолетовыми...

Не знаю отчего, но у меня болит нога. Где именно болит, не разберу. Но что болит, и притом правая, это факт. Когда ходишь, такое ощущение, будто отсидел ногу. Коленка ее слабее, чем у левой. Что это за фокусы! Может, старость начинается?..

Сегодня был с Митей Дмитриевым в кино. Смотрели второй раз «Выборгскую сторону» с актером Михаилом Жаровым.

Листья желтеют сильнее. Все же осень — это замечательно! Тем более, что 22-го будет воскресенье.

21 сентября 1940 г. Во время урока немецкого языка я нахально, во весь рот, зевнул. При этом перекрестил свою пасть. Учительница вытаращила глаза.

— Ну, Шитов, это уже верх всякого нахальства!

— Извините, я не выспался.

Конечно, получил соответствующее нравоучение. После урока еще добавила:

— Если ты вообще не хочешь заниматься немецким языком — дело особое. Но срывать уроки, мешать другим я не позволю.

Конечно, начал возражать: «Да как же так, да я нечаянно!..».

— Это что еще за мода: креститься на уроке! Такое поведение недостойно советского школьника, к тому же пионера. Школа не балаган, не цирк, не церковь. Ты был в Антирелигиозном музее? Он напротив.

— Был. Правда, без билета.

— Видел там результаты религиозного мракобесия...

И пошла, пошла проводить со мной воспитательную беседу.

— Ведь из тебя выходит какой-то дурачок, по-вашему, по-школьному, — балда.

— А кто не балда?

— Хотя бы Олег Шухвостов. Посмотри, с какой увлеченностью он занимается немецким языком. Бери с него пример.

— А как же Пушкин?



— Что Пушкин?

— Александру Сергеевичу как раз нравился балда. Он о нем поэму сочинил...

Ни о чем не договорились. А на мое замечание, что ежели педагог не способен организовать учеников и заинтересовать их своим предметом, то это совсем не тот педагог, какой требуется нашему передовому обществу, она сильно взволновалась.

— Ах, так! Можешь поднимать вопрос перед директором о снятии меня с работы...

Вот ведь какая чудачка!..

На уроке литературы Наталья Викторовна Стасевич, которая по совместительству еще и завуч школы, сверкая серо-стальными, слегка выпученными глазами, сказала сердито:

— Шитов, после уроков зайди ко мне!

В течение учебного часа наэлектризованная Наталья Викторовна в один присест вывела ребятам несколько плохих отметок. Потом предложила:

— Может, кто из вас хочет рассказать про поэтику былин? Это было как раз то, что я приготовил из домашних на сегодняшний день заданий. Встаю.

— Отметку поставите?

— Да.

— А можно не ставить?

— Иди к доске.

Вполне, как мне казалось, прилично изложил все, что помнил из прочитанного накануне. А так как больше ничего не знал, то стал импровизировать о философской сущности былин и о поэтике как таковой. Закончил. Как ни странно, ответ Наталье Викторовне понравился.

— Ну как,— поинтересовалась она,— ставить отметку?

— А еще будете вызывать?

— Сегодня? Нет.

— Тогда ставьте!

— Ох, и хитрый ты парень!..

Все прошло благоприятнейшим образом. После уроков:

— Ты что натворил на немецком? — спросила Наталья Викторовна.

— Искренне сожалею о своем поведении. Осознаю, что оно было действительно глупым, недостойным советского школьника, к тому же пионера.

— Шитов, я на учительском совете промолчу. Но учти, что Шмидт такого не забудет. Тебе это может сильно помешать при вступлении в комсомол.

Фрау Шмидт — такая «челюсцинская» фамилия у нашей учительницы по немецкому языку.

— Наталья Викторовна, но я же извинился!

— Беги вниз. Она там. Скажи, что ты, хорошо все обдумав, понял, что совершил ошибку. И еще раз попроси прощения.

Пошел. Но фрау Шмидт уже не было. Такой пустяк, и так раздули! А может, наоборот?..

Завтра едем на этюды. Дали согласие: Мила Адамович, Таня Лифшиц, Ника Гольц, Геля Коржев, Костя Карамян, Вовик Скумпе, Миша Стасевич, Митя Дмитриев, Вадик Паустовский, Сева Ильинский. Давать обещания легко, выполнять их трудно. Уверен, явится меньше половины.

На занятиях по скульптуре в зоопарке делал композицию «Медвежонок». Мучился, не получался медведь. Похож скорее всего на свинью. Подошел посетитель с маленьким сынишкой. Указывая на мою скульптурную работу, сказал: «А вот и собачка!».

23 сентября 1940 г. Распевая глупые песенки, снова шли знакомой дорогой. Из-под ног вылетали комья глины и грязи. А вокруг бесконечное фиолетово-коричневое поле. Нас четверо: Коржев, Батырь, Карамян и я...

В точно назначенное время пришел к вокзалу. Наших не видно. Неужели опоздал? Повернулся лицом к кассам. Ехать одному? И тут заметил Коржева, сидевшего со скучной физиономией на этюднике. Мимо шныряли дяди, тети, дети, а он с абсолютным безразличием взирал окрест. Вскоре появился Женя Батырь. Время 8 часов 40 минут. Никого! Купили билеты. Идем к платформе. Поезд вот-вот отправится. Вдруг на нас с разбега бросается восторженный Карамян. Очень хорошо, на одного этюдиста больше. Проклиная девочек и всех, кто обещал, но не поехал, мы тряслись в тесном, переполненном дачниками и огородниками, как подсолнух семечками, вагоне.

Итак, мы тут, в ставшем родным Пушкино. Вдыхаем свежий, с легкой прохладцей воздух. Осень! Приятное время года. Как говорится в популярной песенке: «Осень, прозрачная осень...». Впереди ленточка светлого, словно порция мороженого, орошенного дождичком шоссе.



По сторонам желтеющий, с темными пятнами хвойных деревьев лес. Встречаются грибники с корзинками. Свернули с дороги. Сразу погрузились в таинство дубрав. Плющ, кусты и кустики, обрывы, поляны. Совсем рядом с Москвой, а такая глухомань. И до чего, куда ни глянь, красиво! Всюду осень золотая. Тишь, лесные звуки, труднопроходимые чащобы, узенькие дорожки пешеходные, усыпанные по щиколотку красно-желтыми листьями. Что может быть привлекательней! Было много удобств из-за отсутствия девочек. Перешли небольшую речушку по деревцу, перекинутому на другой берег. Долго плутали, выискивая наживописнейший мотив. И ничего подходящего среди этого сказочного очарования не увидели. Безостановочно острили, вспоминали потешные случаи. Устроили даже диспут: кто как поступал в школу. И вообще, решили поделиться своими впечатлениями о школе. Первым высказался Коржев, за ним я. Получились рассказы занятыми, содержательными по портретным характеристикам. Язык во рту не держался, мы без устали долдонили, спорили, орали. Захотелось пить. Воды минеральной или компота никто не взял. Ручеек, через который мы то и дело переходили, а иногда перепрыгивали, был мутноватым. Но все равно напились. Вокруг шуршит осенняя листва. Верхушки деревьев уже обнажены, что-то таинственное шепчут. Пробирались через нескончаемую просеку. Найденные грибы отдавали встречным дачникам. Наконец определили место, всем понравившееся. Начали работать. У Карамяна ничего не вышло. Он соскреба мастихином краску. Батырь, Коржев и я нашлепали по быстрому этюду. Двинулись дальше. Переправились через кусты, сваленные деревья. Величавые сосны, приземистые ели, стройные березы расступались перед нами. Набредли на дорогу. Солнечные блики, пятнистая тропинка, ажурные тени от листвы. Чем не мотив! Но мы вроде бы заблудились. Снова повстречалась речка. Карамян при переходе умудрился опрокинуться. Измок, пришлось ему выжимать чулки. Я тоже выливал из своих ботинок воду. Пошли дальше. Набредли на старое знакомое место. Вот и шоссе. Перешли на другую сторону. Начали обсуждать проблему: «Что такое товарищество?». Подкрепляли доводы разбором качеств ребят, включая,

разумеется, присутствующих. Всем попало. И Коржеву, и мне, и Батырю с Карамяном. Наговорили глупостей. Пришли к выводу, что если два приятеля сходятся в характерах, если у них одинаковые недостатки и достоинства, то они вряд ли станут настоящими друзьями. Если один дополняет другого, вот тогда-то и будет истинная обоюдополезная дружба. В связи с этим, словно нарочно, обыгрывали существующие различия между нами. Товарищество наше только начинается!

Вышли на огромное поле. Коржев заявил, что здесь он остановится и начнет писать этюд. Карамян присоединился к нему. Меня и Батыря Коржев проводил через лесок на другое, тоже приятное место, возле большого огорода. Я примостился на заборе. Этюдник пристроил на перекладину. Батырь расположился внизу. Начал я быстро, но тут же запутался. И хотя в некоторой живописности этюду не откажешь, но — не то. Да и можно ли что-либо путное сотворить за тридцать минут!

Свернув этюдник, сказал Батырю, что пойду к Коржеву. Углубился в лес. Вскоре он закрыл меня со всех сторон. Так ли иду? Кажется, так. Но почему сюда с Коржевым шел минут пять, а тут четверть часа бреду, и никакой поляны. Остановился. Какие были самые высокие деревья? Кажется, вон та сосна. Обогнул слева сосну. Ура! Вот и поляна. Стадо коров на месте, а Коржева и Карамяна нет. Может, они отправились к Батырю? У него билеты на поезд. Иду обратно. Что за дорога? Такой не было. Пустынный лес, протяженная просека. Остановился, прислушался. Ни звука. Что за наваждение! Главное, убеждал себя, не суетиться, спокойно все обдумать. Продолжать двигаться вперед? Бесполезно. В какой стороне находится Батырь? Меня окружали хвойные деревья. Интересно, откуда они взялись? Взобрался на сосну. Ничего не видно. Чуть не сорвался. Куда идти? Услышал голоса. Пошел навстречу. Спрашиваю: «Где тут большой огород?» — «Вон там!». Послушался. Вышел на болото. Но раньше оно отсутствовало. Свистнул. Ответа нет. Увидел вдалеке сухое дерево. Когда встречал его? Ба, да ведь Костя Карамян сказал, что, не будь этого дурацкого дерева, он бы начал здесь этюд. Значит, Батырь совсем близко. Опять выбрался на поляну. Коровы есть, а друзей моих нет. Смеркалось. Хотел повернуть обратно, но тут услышал свист. Ответил. А вот и



басистый голосок Коржева. Отлегло на сердце. Встретились. Но ребята и не собирались уходить, продолжали работать. Пристроился рядом, начал еще один этюд. Раздался далекий фигуристый посвист. Мы ответили. Начались пересвисты. Это направлялся к нам Женя Батырь. Вскоре потемнело, стало холоднее. Упаковали принадлежности художественные, пошли на станцию. Дорогой придумали такую игру: кто-нибудь сочинял двустушие. Следующий быстро отвечал, тоже двустушием. Получалось забавно. Затем один начинал рассказ, другие продолжали, а последний выдумывал финал. Тоже не было скучно. На вокзале выпили сидро, купили два кило черного хлеба. Тут же принялись есть. Доедали уже в вагоне. Соседом оказался пьянчужка.

— Ишь, сколько цветов везут. Какой толк от них? А у меня грибочки. Это дело другое, закуска!..

Вскоре он задремал. Иногда, продрвав глаза, интересовался:

— Мытищи проехали?

И снова засыпал.

Вернулся домой поздно. Немножко попало. Отправились-то на этюды чуть не в семь утра. Но нам эта поездка в высшей степени понравилась.

30 сентября 1940 г. Недавно вместе с Коржевым и Батырем был в Третьяковской галерее на выставке рисунков Репина. Пришел в неопишуемый восторг, не будучи уверенным, что смогу, когда вырасту, так же достойно и ловко рисовать. Бродили по залам, разглядывали дотошно каждый рисунок. Коржев молчаливо переходил от одной работы к другой, уныло опустив голову и о чем-то думая.

— Все же Репин,— заявил он,— прежде всего рисовальщик. Что и говорить, рисует здорово. Ну, а живопись-то! Не совсем...

Спустились вниз, где экспонируется Константин Коровин. Женя Батырь фыркал. Ему, человеку деликатному, такая мазистость не по нраву. А я и Коржев восторжались. К выходу шли через залы, где выставлены шедевры Кипренского, Брюллова, Тропинина и других «гладкописцев» (выражение наших школьников).

— Нет, что бы я сделал, так это пожигал бы все эти скучные картины!

— Зачем! Лучше нарезать кусочками и этюды на них писать.

— Правильно! Это благороднее, чем в печку...

Батырь слушал наши полушутливые, немного кощунственные разглагольствования и не мог понять: серьезно ли мы такие варвары или только прикидываемся.

— А вот этот женский портрет, кто автор-то, Заряно? Я бы Батырю подарил. На память.

...Вчера был в гостях у Мони Миркина. Живет он на улице Горького, в доме напротив Концертного зала имени Чайковского. Живут хорошо, зажиточно. Мама его круглая, толстенная. В очках. Мона уже сейчас вылитая ее копия, хотя и без очков. Повзрослеет, совсем широким станет. Провожая меня, Мона спросил:

— Хочешь три рубля заработать?

— Обязательно!

— Пойдем напрямик через улицу Горького. Если милиционер нас не остановит, штраф не возьмет, считай — три рубля заработал.

Пошли. Действительно удалось перехитрить милиционера, сэкономить деньги...

Вчера я и на этюды успел съездить, в Сокольники. Там проводились массовые спортивные мероприятия, кросс имени Климента Ефремовича Ворошилова. Холодище ужасный, а физкультурницы и физкультурники в маечках и трусиках закаляются. Интересно! Народу уйма. И все больше молодежь. Красивые, живописные. Наверное, на эту тему буду делать композицию.

Сегодня тоже предполагались занятия по скульптуре в зоопарке. Я и Коржев пришли в школу без пальто. Скульпторша скептически оглядела нас.

— Коржев, Карамян и Шитов! Вы считаетесь прогульщиками. Все ребята поедут в зоопарк, а вы отправляйтесь домой. Я не хочу отвечать за вас, если простудитесь. В такой одежде работать на воздухе нельзя.

— А если у меня,— возразил Геля Коржев,— нет пальто. Есть шуба. Но рукава ее вот такие, мне по локоть. Мала стала.

Что ж делать! Высказали преподавательнице по скульптуре спасибо. И поехали на выставку в Зал «Всекохудожника» на Кузнецком мосту. Сильно не понравилось. Зачем делать столько композиций на



политические сюжеты? Да еще так неряшливо. Сколько же холста перепорчено...

После выставки заглянули в изомагазин. Костя Карамян спрашивает у продавщицы:

— У вас пластилин есть? — Коржев вмешался:

— Всякая мелочь желает в скульптуру податься. Не верьте ему, все равно не купит. У него и на трамвай денег нет...

Дальше Коржев предается фантазиям:

— Если бы я был в государстве главным лицом, которое все может, что пожелает, то прежде всего упразднил бы кондукторов и контролеров. Особенно последних. И милиционеров, конечно. Только нескольких оставил — для этнографического музея. Ну, а главное, надо резко уменьшить количество художников. Куда их столько развелось! Поедешь на этюды, глядь, а уже двое, по меньшей мере, сидят с этюдниками. Еще кого?..

— Врачей.

— Это точно. Их тоже.

Да, категоричность мышления свойственна юности.

3 октября 1940 г. Сейчас я много занимаюсь живописью. Рисовать тоже не забываю. Заработался до такой степени, что сам чувствую, как с каждым днем укрепляются силы. Все, что делал еще вчера, сегодня представляется бестолковым. Ни о чем, кроме живописи, и думать не хочется. Даже шахматы забросил, на шахматную базу в Сокольники не хожу, ни с кем не играю. Книги читаю лишь по изобразительному искусству, журнал «Юный художник» выписываю, вырабатываю в себе взгляды по художественным проблемам. Завел тетрадь специальную, куда заносу суждения о живописи великих мастеров.

...Сегодня была контрольная по немецкому языку. Я не поклонник изучения иностранных языков, тем более немецкого. Но пришлось тратить время на подготовку. Сел рядом с Таней Лифшиц (только на уроках немецкого языка позволяю такое). На три четверти списал у нее письменную контрольную. Конечно, маленько, чтоб избежать подозрений, переработал. Учительница во время контрольной меня не

тронула, но отсадила Мишу Стасевича от Олега Шухвостова.

— Нет, нет, Стасевич, ты будешь списывать!

— А Шитов?

— Шитов теперь уже не тот!

Я делаю блаженное лицо и надеваю очки, которые принес в школу. Очки в солидной роговой оправе, но без стекол. Вид у меня сразу сделался необыкновенно умным.

...Сегодня появился приказ о платном обучении в школе. Ввели все же! Как не вспомнить поговорку: «Не было печали...».

Когда на улице осень,  
А горло сипит от простуд,  
Полезно, даже очень,  
Написать на пленэре этюд.

Это я сочинил. Завтра после уроков снова пойду в Сокольники, благо рядом. Да здравствует живопись, да здравствуют этюды! Долой все другие уроки, включая литературу и былины про Святогора!..

4 октября 1940 г. Вчера с Вадиком Паустовским после седьмого урока пошел в суд. У нас должно было быть восемь уроков, последний — физкультура. Но мы заявили без тренировочных костюмов, и нас отпустили домой.

Длинная лестница. Поднялись. Примерно двадцать слева-справа комнат-кабинетов, где проходят слушания судебные. Сперва попали на дело ночного сторожа, который по причине сильно-алкогольного состояния не был допущен до исполнения служебных обязанностей. Вадика и меня приняли не то за журналистов, не то за фотокорреспондентов. Мы скромно прошли, стуча этюдниками, и сели в самый дальний угол. Событие рассматриваемое происходило в саду «Эрмитаж». Судья спросил, когда закрываются лавки и ларьки, мог ли там подсудимый выпить. Обвинитель отвечал невнятно, но можно было понять, что у обвиняемого лицо было красное, опухшее, сам он качался и норовил песни революционные петь. Судья сказал торжественно:

— Суд удаляется на совещание.

И широким шагом, один, вышел. Кроме него-то лишь секретарь-машинистка была. Сторожа оправдали...

Следующим было дело о женщине «легкого поведения». В ее комнате



устраивались вечеринки, пьянки, подозрительные сборища. Она поссорилась с соседями. Кухня общая. В финале одной из бурных вечеринок на кухне началась возня, нецензурная брань. Это произошло в девять вечера. Через два часа опять возобновилась брань и матюганье. Сосед разбудил своих детей, пусть, мол, послушают, поучатся, как не надо себя вести. (Дети были свидетелями на суде.) Дождавшись, когда соседка и его матюгнула, сосед побежал за милиционером. Милиционер явился быстро и с женщиной обращаться начал не очень любезно. Она наотрез отказалась идти в милицию. И вот результат — судебное разбирательство. Споры, пререкания, крики, слезы. А судья — женщина. Она явно симпатизировала соседу. Чем эта история, достойная кисти Тулуз-Лотрека, окончилась, не знаю. Мы покинули зал, оставив там много любопытных кумушек, гордых на такого рода происшествия...

Случилось это в 1937 году, было мне 12 лет. Мы всей семьей отправились в гости за город, во Фрязино, к давней маминной, еще с гимназических лет, подруге. Ехать надо было по железной дороге, затем автобусом. Когда дожидались автобуса, хлынул дождь. Шоссе заблестело от воды, словно зеркало стало. Хоронились от дождя под навесом в воротах расположенного рядом завода. У отца под мышкой была книга. Она упала в грязь, вверх обложкой: Оноре Бальзак, «Новеллы». Отец, придерживая тубетейку, чтоб не свалилась, поднял книгу, очистил от грязи. Девушка голубоглазая, курносая, в замызганном рабочем комбинезоне, увидев обложку бальзаковских новелл, вскрикнула:

— Ой, какая книга!

Мне неловко стало за некоторое пренебрежение наше к таким книгам, которые остаются лишь мечтой (где их достать?) для обычных людей...

25 октября 1940 г. Сентябрь позади. Осень решительно захватила власть над природой. Один дождь сменяется другим. Похолодало. На уроках живописи окончили натюрморт, начали работать над эскизами композиций. На днях я со школьного балкона сделал за два часа небольшой этюд маслом Каляевской улицы. Получилось гармонично, но грязновато. У Писсарро в Музее нового западного искусства лучше. Несколько дней назад опять вылез на балкон, начал новый этюд, размером побольше. От

холода стучали зубы, согревался энергичным маханьем кисти. За два часа окончил. Показал Хайкину. Он отметил недостатки. После беседы с ним продолжил этюд. Работал еще час. Учел замечания Павла Самойловича, улучшил пейзаж. А в прошлое воскресенье ездил на этюды в Сокольники с Мишей Голубенковым. На обратном пути возле Оленьих прудов встретили сразу человек пять с этюдниками и мольбертами, любителей живописи пленэрной. Всем им высказали свои очень категоричные суждения. Один пленэрист, уже взрослый, в шляпе к тому же, осерчал на мои слова... Делаю композицию «Суд».

Хочется дать характеристики ребят нашей подгруппы 4 «а» класса. А это: Натапова, Власова, Колобаева, Коржев, Миркин, Батырь, Пурыгин, Орлов, Карамян, Зархин, Жаринов, Старис, Недожаров, Портнов, Волков.

Роша Натапова. Внешне выглядит как мальчик — короткая стрижка с зачесом, скулатое лицо, не похожий на писк девчонок низкого тембра голос. На занятиях живописью, когда мы тратили время на обсуждение: чья работа лучше, — Натапова, не отвлекаясь на пустяки, сосредоточенно пытается над натюрмортом. Хайкин, наш учитель, говорил: «Знаешь, почему у нее хорошо получается? Она цельно видит». По общеобразовательным предметам Роша отличница. Память у нее замечательная, у доски почти слово в слово могла повторить текст учебника, который лишь накануне бегло перелистала. Один раз Лева Портнов попробовал пошутить, чуточку поухаживать за ней, стал таскать Рошу за чубчик. И тут же получил оплеуху. Списывать задания не позволяла. «Нет, и не проси! Если хочешь, могу объяснить...»

Клара Власова. Скромная, крохотного росточка, она отличилась в прошлом году, на втором по счету натюрморте. Быстро, вместе с другими девочками — Натаповой и Колобаевой — выдвинулась в лидеры. С каждой постановкой совершенствуется. Техника у нее занятная — пишет разноцветными козявками-мазочками. Импрессионист, да и только!

Женя Батырь. Сразу выделился рисовальной сноровкой. Вместе с Монею Миркиным получил первую в нашем классе хорошую отметку по рисунку. Вид у Жени самый что ни на есть простецкий. Лоб в



шишках, нос картофелиной, прическа «под бокс», одежда неприметная. Замкнутый в себе, молчаливый. Но хорошо развитый физкультурно, страстный болельщик футбола.

Моня Миркин. Круглый, маленький, с пухлым личиком, всегда в пионерском галстуке и бархатных, коротких до колен, штанишках — вот каким был Моня Миркин в год поступления в школу. Улыбающийся, смешливый, добрый. Везде, где он появлялся, тотчас звучали остроты, шутки. Переживает, когда у него что-нибудь не получается. Сейчас Моня повзрослел, говорит басом, но по-прежнему остался для всех друзей «пузырем». Обладает интересным, тонально энергичным рисунком. Из-за того, как надо и как не надо рисовать, у него возникают постоянные споры с Александром Осиповичем, нашим учителем по рисунку. Живопись Мони также считается одной из сильнейших в классе. Старательно учит уроки, аккуратно выполняет домашние задания.

Валя Пурьгин. Появился в Москве в середине прошлого учебного года. Замкнутый, внешне грубоватый, прямолинейный. Этаким деревенский (в хорошем смысле) парень, со светлыми глазами, выцветшими волосами, бугорчатым лбом и носом помассивнее, чем у Батыря. Из таких личностей и получаются, вероятнее всего, не эстетствующие болтуны об искусстве, а творцы, Суриковы. За самый свой первый рисунок гипсовой головы античного мальчика, выполненный куском графита, широкими тональными пятнами, он получил (что редкость) «отлично». На занятиях по живописи Валя однажды превосходно начал учебный натюрморт. Хайкин не уставал хвалить. Но Валя что-то испортил и тут же содрал всю живопись ножом. Потом опять хорошо пошло. И снова испортил. Попросил у меня мастихин, снова старательно счищает с холста краску. Вскоре загрустил, живопись ему надоела. И он сел на корточки на полу около мольберта, обхватив руками колени. На уроке скульптуры Валя тоже сперва сидел на полу в той же, любимой им, сосредоточенной демонической позе. После ругательных увещаний учительницы нехотя поднялся и сделал первый в своей жизни скульптурный этюд. Получил хорошую оценку. Его темперамент сказывался на всех спецпредметах. В Москву Валя приехал с Волги, из города Куйбышева. Живет в интернате.

Геля Коржев. Самый интересный человек в группе. Геля, Гелька, Гелий, без пяти минут гений. Отличается размерами своими — чуть не 190 сантиметров в высоту. И характерной манерой разговаривать, с шуточками, прибаутками. Где бы ни находился — всегда центр внимания и всеобщего оживления. Но у классной доски не способен с легкостью разговаривать. С друзьями же балагурит за пятерых, живо и интересно, на любую тему.

В первое время его живопись ничем особенным не отличалась. Он выказывал себя простаком, спрашивал: «Что такое вандик коричневый? Какого цвета ультрамарин? Можно ли разводить масляные краски керосином?». Постепенно работы его взгляды на искусство. И вовсе не поверхностные. Во мне в тот период произошел такой же перелом. Мы сдружились. После уроков я провожал его пешком до станции метро «Дом Советов». Геля недалеко там жил, в Зачатьевском переулке. Одинаково уважали одних художников, порицали, иногда резко, других. Геля был, пожалуй, чуть ли не единственным в нашем классе «мыслителем», имел собственные, нигде не заимствованные и ни от кого не услышанные оригинальные мнения по искусству. Знаний наших и самоуверенности оказалось достаточно, чтобы в пух и прах расчихвостить любую картину любого мастера, да и работы однокашников тоже. Потом Геля ругал мои этюды, а я его. Обращали внимание и на отдельные удачные куски, которых у него было побольше. Спорили постоянно, везде — на уроках, в музеях, на улице. И обо всем. Коржев парень крепкого, упорного характера, беспредельно преданный живописи. Любит прихвастнуть, сам о себе сказать хорошо. Живопись у него цельная.

### 2. В канун войны.

Михаил Врубель.

Ах, Врубель, Врубель, какой мастер! Сколько притягательного в его искусстве. А ведь нас, сегодняшних школьников, родившихся в середине 1920-х годов, отделяет от Врубеля всего 15 лет. Книг много о нем. Один автор видит в художнике сказочного волшебника, превратившего краски в жемчуг. Другой представляет его безнадежно больным и несчастным. Третий — запутавшимся в пластических исканиях декадентом. Возможно, качества эти и



присутствуют в какой-то степени в творческом облике Врубеля. Но на мой взгляд, самая главная его особенность — темперамент, живописный натиск. Ни одного сантиметра равнодушия! Каждая точка, каждый атом его произведений пронизаны взволнованностью обостренного чувства. Его знаменитый “Демон” — не пособие по рисунку и живописи. Это сон вещей о вселенной, не только о своей персоне. Мишень, куда художник выстреливает всего себя, все горестные мысли и ощущения, радость и печаль, раздор мечты и сущего. “Демон” во всех вариантах живописных и графических — автопортрет, второе “я” художника. Но в этом “я” включены и “мы”. Те, что были тогда, при Врубеле. Те, что сегодня есть. И те, что придут в грядущем. Врубель не был при жизни признан. Время сломило его. Но время, прозрев, выздоровев и одумавшись, оправдает Врубеля, усовершенствует понятия об этом дивном художнике.

Январь 1941г.

Павел Кузнецов.

Перед Новым годом на Кузнецком мосту открылась выставка Павла Кузнецова. Как к нему относиться? Я ходил по залам, задавал себе вопросы и сам же пытался ответить на них.

Кузнецов плохо видит цвет? Ах, бросьте, что вы! Работы Кузнецова колористически безупречны. У него отсутствует цветовая грязь, фуза перетертая. Посмотрите, как он передает белую ткань. Это же целая симфония теплых и холодных оттенков. А с каким совершенством строит в пространственных композициях дальний (преимущественно городской) план! Слово через стекло чуть замутненное, или вуаль воздушную лицезреет окружающее. Кузнецов не видит тона? Как бы не так! Замечательно видит. Правда, в картине “Азовсталь” дым фабричный светлее, чем дышащая огнем масса металла. Но именно подобными несообразностями Кузнецов и примечателен. К нему нельзя подходить с позиций азбучных профессиональных истин. В чем же дело? А вот в чем. Кузнецов подчиняет тон себе, своему настроению, поэтическому взгляду на прозу жизни. Именно поэтому живопись его певуча, лишена грубости. Лиричность его пейзажных работ достигается также тем, что Кузнецов иногда сознательно деформирует цвет и тон. Именно это обстоятельство придает им обаяние. Слабее портреты. И то

лишь потому, что Кузнецова интересует не психология человека, а психологическая гармонизация цвета. Ну и конечно, нельзя не отметить некоторого однообразия живописной манеры. Все картины написаны в одном техническом приеме, одинаковы по обработке холста. В целом же, Павел Кузнецов оригинальный, жизнерадостный мастер. Искусство его музыкально и молодо.

16 января 1941г.

Александр Безыменский.

На новогодней елке в Колонном зале я получил приз за рисунки, выполненные с ходу цветными карандашами. Нас, призеров, смущенных и счастливых, вывели на сцену, представили публике, наговорили похвальных слов и одарили дружными аплодисментами. Потом, согнувшись, мы пролезли через затейливую, разрисованную восточными узорами, низкую дверцу в большую комнату. За длинным столом восседали унылые парни и монотонно спрашивали: “Где живешь? За что получил? Пройди дальше”.

Получивших премии было семеро, из мальчиков (и художников) я один. Слышался волнообразный гул из зала, музыка, бойкие возгласы Деда Мороза и Снегурочки. По левую от дверей сторону тренировались цирковые гимнасты. Тут же громко полоскали горло певицы.

Будущий бюрократ, лишь черед дошел до меня, растягивая слова, звонко спросил:

— Что получил?

— Авторучку, записную книжку, альбом для рисования. А главное, вот — шахматы с доской деревянной.

— Помедленнее, пожалуйста! “Книжка” через “ж” пишется, или через “ш”?..

Сзади кто-то фыркнул. Писарь начал оправдываться. А я стою, жду. В углу беседовали подтянутый командир с орденом Ленина на гимнастерке и коренастый, небольшого роста, пожилой, лет сорока, человек с маленькой плешинкой. Я узнал поэта Александра Безыменского, автора знаменитой песни “Молодая гвардия”.

Писарь вскинул на меня глаза и молвил:

— Не забывай Колонный зал. Пришли письмо Деду Морозу. Многие нам пишут, присылают рисунки, стихи. Адрес знаешь?..

Я понял, что напутствиями такими



он провожает каждого. Завернув призы в газетку, направился к выходу.

— За что получил? — спросил меня, втягивая голову в плечи, Безыменский.

— За рисунки.

— Так, это твои, значит, были. Видел, видел! Молодец. Художником будешь?..

И начал, обняв меня, рассуждать о высоком предназначении искусства. Он странное производил впечатление: широкий, грузный, слегка неуклюжий. Голова его, почти бизонья, казалась такой тяжелой, что становилось понятным, почему она втиснулась в плечи. Но при этом возникал вопрос: а шея-то куда подевалась? Он дышал табачным перегаром и все нравуочал, нравуочал... Наконец, пожелав мне счастливого нового года и успехов, прошествовал дальше.

А я, погуляв немножко по праздничному фойе, вернулся в главный зал, где завораживающими огнями мерцала величественная красавица-елка. Как раз в этот момент Безыменский, стоя на сцене, декламировал свои стихи: «Вот она, молодежь, молодежь, окрыленная знаменем КИМа». Как все поэты, он завывал и грозно поднимал руку, будто комаров ловил.

Окончив чтение, Безыменский вышел в фойе, где веселились, танцевали и приплясывали юноши и девушки. С одной стороны надрывался баян, рядом под аккомпанемент пианино кто-то тянул: «Лети на станицу, родимой расскажешь...», чуть дальше мальчишеский голосок: «Гренада, Гренада...». Налево кувыркался размаляванный цветами радуги клоун. И среди этого праздничного всеобщего оживления, болтающихся гирлянд, россыпей серпантина ходил, заложив руку за борт пиджака, с видом комсомольского Наполеона Безыменский. Девочки, завидев его, шарахались. О чем он думал? О чем может думать поэт, находящийся среди беззаботно веселящейся юной толпы?

В большом зале опять потушили свет, начались танцы. Безыменский направился туда. Вскоре он уже нескладно танцевал, явно опасаясь наступить на туфельки своей юной партнерши, что-то шепча ей на ушко. Неужто, стихи?..

Его узнавали, улыбались. А он, вероятно, и не понимал, что улыбки-то были ироничные.

Февраль 1941г.

Василий Бакшеев

(о березках и строительстве).

Василий Николаевич Бакшеев, седой старик, с зубами, вывороченными вовнутрь рта, глотая отдельные слова, рассказывал про красоту средней полосы России. Мы, человек пятнадцать учеников Московской средней художественной школы, находились в его мастерской. Пергаментно-желтыми руками с выпуклыми жилами Бакшеев ставит на мольберт большую картину, изображающую солнце, березки, снег.

— Ловите оттенки природы, — наставлял Бакшеев, — бесконечно любите ее. Что может быть лучше запаха земли, аромата леса. Как богата природа нашей Родины, какой здесь простор для творчества!.. Надо постоянно изучать природу, любовно ее штудировать, как это делали наши выдающиеся предшественники. Вот Левитан. Какой это был скромный труженик, какой взыскательный; требовательный к себе художник! Никогда он не был доволен своими работами. Однажды в Плесе, после этюдов, он сказал мне: «Не могу передать свое восхищение, эту простую, волнующую красоту. Не удастся!». А ведь это говорил великий мастер. Природу надо изображать не как-нибудь, не с «маху», не в скороспелых нашлапках, а серьезно, вдумчиво...

Старик размахивал скрюченными руками и рассказывал, рассказывал про боготворимого им школьного друга Левитана, про значение пейзажа-картины, про то, что следует делать к каждой своей композиции натурные этюды. Его сморщенное лицо с белой щетиной усов и бороды блаженно улыбалось. Он всю жизнь писал тихую природу, пишет ее сейчас, и будет писать дальше...

Через большое окно в мастерскую вливался свет зимнего дня, виднелись крыши ветхих домишек, которыми богата Верхняя Масловка. Среди этих невзрачных старых строений высились недавно воздвигнутые многоэтажные постройки. Шумят, трезвонят трамваи, в небо упираются скелетики подъемных кранов. А Бакшеев все говорит про березки, рощицы, последний снег и первую зелень, про задушевную пейзажную лирику...

Март 1941г.

В больнице.

Большая светлая комната. За окнами зимняя улица. Сквозь ветки деревьев видны спешащие фигурки людей. Они здоровые,



могут легко двигаться, ходить, прыгать. А мы — нет...

Подметают пол, моют окрашенные синей краской стены. Здесь это делают часто, даже чересчур. Аж надоедает. Потолок высоко. И чистый. На всех предметах отпечаток больничной строгости. Возле каждой койки тумбочка, радионаушники.

Встретил меня парень на костылях.

— Перелом?

— Трещина.

— На левой ноге?

— Да.

— У всех на левой. Вот чудеса! Это пустяки. Через месяц лезгинку танцевать будешь!

Звать его Колей, студент финансового техникума. Черноволосый, с узкими, немного раскосыми глазами, выздоравливает.

— Что с тобой произошло? — поинтересовался я.

— В метро на лестнице, самой что ни на есть обыкновенной, оступился. И вот тебе! Сухожилия оборвал. Врачи дивились: “Да как же умудрился, почти на ровном месте!” Думали, хромым останусь. Но обошлось. Операцию сделали классно. Есть тут одна женщина-хирург. Мне говорили: “Это твоя вторая мама. Первая целиком тебя на свет произвела. А этой ты обязан ногой своей. Новая-то крепче прежней!..”

Наша палата для больных с травмами. Около окна по левую сторону от меня лежит молодой рабочий. С зеленоватым цветом лица и удивленными глазами. Рассказывает украинские анекдоты и всякие истории про свои романтические, наверняка выдуманные, похождения. У него сломана ключица: поскользнулся на трамвайной остановке. Читает “Миргород” Н.В. Гоголя. В палате тихо; кто спит, кто отдыхает. Оторвался от чтения и долго смотрит в окно. Потом на всю палату как закричит:

— Ой, какой снег пушистый навалил!..

Читает с натугой. Видно, как тяжело ему каждая страница дается. Сам заявил, что образование у него хромает. Но от Гоголя пришел в восторг.

— Вот это писатель, настоящий! Как пишет, как пишет!..

Некоторые отрывки из книги зачитывает вслух, хотя никто его не слушает. Уж очень хочется поделиться с окружающими радостью.

Самый пожилой в палате — дедушка из Мордовии. Ему 76 лет. Пока находится в больнице, оброс белой колкой бородой. В Москву он пожаловал к сыновьям. Те его сперва водили по достопримечательностям столицы, а потом, направив дедушку домой, укатали на вечеринку. Как ни осторожничал дед, но все же угодил под трамвай. В больницу его привезли с сотрясением мозга, переломами ребер и ноги. Покойно лежать у него не получалось. Что-то выкрикивал, дергался и чуть не оборвал сетку, которой была обвязана его кровать. Все же однажды он вырвался из пут своих и поковылял к двери. Сестра заволновалась:

— Куда ты?

— В Саранск, поезд уходит!..

Сбежались санитары, уложили старика в постель. Но он снова выкарабкался и, усевшись по-турецки на тумбочке почти голым, начал вполголоса распевать унылого содержания песни. Опять привязали его к кровати.

Сейчас дед выздоравливает. Поперек лба шрам, нога срослась, но неправильно, дугой. А он острит:

— Ишь ты, на старости кавалеристом сделался!

Опираясь на спинку стула, учится ходить. Как-то вечером попросили его рассказать что-нибудь. Дед согласился.

— В русско-японскую кампанию, а я поваром служил, был у нас сильно злой фельдфебель. За каждую мелочь наказывал, рукам волю давал. И еще. Узнает, у кого денежки есть, начнет приставать, вымогать, пока не отдадут. Вызывает однажды меня. “Иди,— приказывает,— котел чистить”. Думаю, беда не велика, пожалуйста. Забрал котел, сижу на песочке, песни распеваю, чищу. Окончил, принес. Фельдфебель посмотрел: “Иди, сукин сын, обратно. Плохо!” Отправился обратно. Почистил еще. Снова принес. Фельдфебель повертел котел в руках. “Опять плохо. Обратно!” Тут мне говорят люди опытные: “Это он про деньги твои проведаль. Дай ему гривенник, пусть отвяжется”. “Чорта я ему дам, а не гривенник”,— отвечаю. И сызнава иду котел драить. Посмотрим, кто кого. Раз шесть, наверное, чистил, чуть не до дыр дотер. Фельдфебелю первому надоело. Врезал он мне по физиономии, сплюнул и ушел...

Напротив меня лежит Сашка, светлоголовый, голубоглазый. Когда улыбается, показывает желтые, требующие



срочного ремонта зубы. А улыбается он часто. По временам тяжело задумается, лицо его враз взрослеет, морщинками покрывается. В глазах недвижных появляется боль скрытная. Он никогда не вставал с постели, разговаривал с врачами и сестрами, как давний знакомый, по имени называл. Рассказал про себя.

— Спешил на работу. Весна, солнце, птички поют, почки на деревьях. Под ногами лужи. А трамвай грохочущий весело расширяет их на множество брызг. Десятый номер трамвая, нужный мне, задерживался, нет и нет. Решил, пешком пойду, красотища-то кругом какая! Оглянулся, едет мой десятый. Битком набит, на подножках грузными люди виснут. Эх, была не была! Прыгнул на ходу. Кому-то на ногу. Тот скривил рожу, отпихнул. Левая нога моя под колесо угодила. Оттолкнулся правой, чтоб высвободиться. И ее затянуло под колесо. Голову ободрал. Трамвай остановили. Любопытные кольцом выстроились. Машина техпомощи быстро, как показалось, прикатила. Подняли вагон, вытащили меня. А тут и “скорая медицинская” подоспела. В сознании был. Искал глазами в толпе того хама, который оттолкнул меня. Улетучился! Смотрю, а в руках у меня что-то находится. Оказывается, его фуражка. Вспомнил, падая, ухватился я за его голову. Отдал милиции. Санитары “Скорой помощи” небрежно схватили меня, а левая нога точно топором изрублена. Когда на носилки клали, через окровавленную бахрому брючины увидел собственную кость. Торчит, как полено. В больнице врачи заявили: нога, мол, раздроблена, придется ампутировать. Только тогда я и почувствовал по-настоящему боль. Ой, лучше и не вспоминать! Сдержаться не мог, матюгался всюю. Вот, смотри...

Сашка сдернул одеяло и показал сиреневый обрубок ноги.

— Только из больницы вышел, протез наладил, сшиб меня автобус. Здоровую ногу переломал. И чего я так понравился транспорту бесовскому? Лежу уже несколько месяцев. Надоело, ох, и надоело! Но, говорят, вторая-то нога целой будет...

Иногда заглядывает к нам Лешка — ходячий, здоровенный рыжий парень. Прозвали его: “Светит, а не греет”. Подойдет к графину с водой.

— Можно принять двести граммов за ваше драгоценнейшее здоровье.

Глаза у него зеленые, уши маленькие,

приплюснутые. Левая рука на перевязи — обварил смолой на заводе. В больнице больше двух месяцев. Тыльная часть ладони сгорела. Пальцы высовываются из повязки.

— Видишь, пальцы крючком? Это мне первую повязку неправильно соорудили, теперь совсем не разгибаются. Все лечат, лечат, никак не вылечат. Хотят электротокком попробовать. Интересно!..

Кончики пальцев у него тоненькие, с только что образовавшейся розовой кожей. Ногти обгорели и торчат головешками. У основания большого пальца дыра до самой кости. Охотно всем демонстрирует.

Как-то он спросил у Сашки:

— Помнишь шофера Григория? Он здесь дольше всех находился. Без икр, облился случайно керосином и загорелся.

— На коляске ездил?

— Да, да! Так вот, три дня назад сложнейшую операцию ему сделали. Думали, в живых не останется. Но обошлось. Родные, хотя это категорически запрещено, четвертинку водки ему принесли, поздравить хотели. Разумеется, втихую, чтоб никто не знал. Он на радостях-то выдул всю бутылочку.

— Ну, и что?

— Слабым еще был. Организм не выдержал. Вчера умер. Видел, как ногами вперед выносили...

Двери нашей палаты выходили в длинный узкий коридор, по которому степенно костыляли и пессимистично прохаживались разнообразные, с костылями и без костылей, больные; иногда шумно пронеслась с белым ночным судном нянечка. Коридор упирался одним концом в двери с табличками “М” и “Ж”, а другим — в женское отделение. Из нашей палаты прекрасным полом сильнее других интересовался Коля. Я встретил его в больничной читальне с девушкой, обладательницей чрезвычайно вспученных глаз. Жеманничая, она рассказывала:

— Скучища у нас, просто жуть! Одни старухи. И все на диете, манной кашкой питаются...

Коля вежливо внимал ее печалям и тут же начинал рассказывать неправдоподобные байки о себе. Девушка, как выяснилось, тоже была из Мордовии и даже перекинулась с нашим дедушкой парой слов на непонятном для нас языке. Попала она в больницу из-за любви к спорту, упала на катке, и кто-то проехался на коньках по ее



плечу. Сознывая, что на фоне престарелых, седых и болезненных соседок она просто бриллиант безупречный, проводила свободные свои часы в читальне, выставив из халата свои тонкие ножки.

Беседовал с Колей. Подошла докторша, строгая и очкастая. Увидев на моей тумбочке рисовальный альбом и книгу М. Дювала "Анатомия для художника", сказала:

— Вот молодец! Не теряет времени даром. Анатомия наука скучная, но полезная, пригодится...

Ночью привезли к нам еще одного травмбольного. Утром он долго кряхтел и охал, потом заговорил:

— Не могли бы вы сообщить, где здесь звонок? Он должен быть. Не знаете? Зря, очень зря. А у кого можно узнать? У нянечки? Благодарствую...

И тут же закричал:

— Няня! Умоляю вас, няня!

— Чего?

— Будьте любезны, ответьте: есть ли в этой гостеприимной больнице, а конкретно в нашей палате, звонок. Где он?

— На столе.

— Вот как! А я и не заметил. Увы, старость не всегда радость. Теперь буду знать. Имейте в виду, многоуважаемая, я почти не сплю по ночам. Этому в значительной степени способствует больная нога. Чтобы и вам не было скучно, каждые полчаса сообщайте, пожалуйста, мне время. Вы разбираетесь в стрелках часов?

— А как же!

— Замечательно. Дайте мне звонок. Так, так. Скажите, сколько времени сейчас?

— Без десяти минут половина восьмого...

Этот жизнерадостный старикан доставил нам истинное восхищение. Сразу по прибытии, еще ночью, его больную ногу взгромоздили на возвышение. Она находилась чуть ли не под потолком, перпендикулярно к горизонтально расположенному туловищу, и смотрела на нас свысока.

Во время утреннего врачебного обхода старикан заметил:

— Вы меня поставили, вернее, положили и расположили, в неудобное положение...

Пришлось переключивать. Старик продолжал вполголоса стонать. Его успокаивали:

— Ничего, ничего, скоро поправитесь!

— Пожалуйста, постарайтесь! Прошу вас. Я спешу, хочу присутствовать на открытии Дворца Советов, который, как известно, сооружается по проекту моего друга, архитектора Бори Иофана.

Старикан оказался чрезвычайно словоохотливым и без усталости шутил. Если не спал, то говорил. Спал мало, говорил не переставая.

— Молодость, молодость, где ты! Трудно поверить, но мне уже семьдесят годков. По профессии я журналист. Всякое бывало. Много видел, многих знал. Некоторых лучше бы и не знал.

А остроумные, должен сказать, были люди. Например, Карл Радек. Каждый день с новым анекдотом приходил. Изрядно я и попутешествовал. Не только по курортам. В настоящее время — персональный, причем пожизненно, пенсионер. Месяц назад схватил крупозное воспаление легких. Лежал в Ростокинской больнице. Начал поправляться, попросился домой. Выписали. А дома, представьте, в ванной поскользнулся. Такой вот конфуз. И смех, и грех! На карточке моей, вот она на спинке кровати висит, написано: "Перелом шейки правого бедра". Конечно, если уважаемые медицинские работники будут лечить шейку правого бедра, их старания непременно увенчаются крупным успехом. У меня-то левая сломана...

После вечерних наших разговоров сделал замечание:

— Сколько же, прости Господи, гадостей я сейчас услышал. Надобно, милые юноши, блюсти уста свои от злоречия и сквернословия. Грустно, очень грустно! Уровень интеллектуального и духовного становления у вас, простите меня грешного, явно не соответствует требованиям нашей светлой, устремленной в будущее эпохи...

Мы попросили его рассказать что-либо. Согласился.

— Одно испытываю затруднение: какие слова подобрать, чтобы доходчивее речь моя была.

Говорил он хорошо, таким тоном, что хотелось смеяться после первых же слов.

— Сидит Ваня. Перед ним палка из земли торчит. Его спрашивают: "Что, Ваня, делаешь?" — "Думаю" — "Это хорошо. О чем же?" — "Да, вот, воткнул в землю палку и не знаю, куда земля из-под палки девалась".



Еще одна история.

— Понадобилось одному красавцу офицеру шпоры приобрести. Приходит он в лавочку торговую. “Есть у вас шпоры?” — “Только одна осталась” — “Ах, какая досада!” — “Но я советую,— говорит торговец,— все же купить ее”. — “Что я с ней, одной-то, делать буду?” — “А вы пырнете шпорой правый бок лошади, она тронется, и левый ее бок — тоже”.

...И вот я хромаю к выходу. Жаль покидать палату, к которой привык, занятых соседей. Придется теперь какое-то время, пока совершенно не поправлюсь, сидеть дома, среди однообразия бытового. А в больнице постоянно происходят события. Там своя жизнь, каждый день что-то меняется. А главное, люди там простые, искренние. Они с одинаковой внимательностью слушают по радио хор Пятницкого и Пятую симфонию Бетховена. Их веселит смех М. Зощенко, с глубокой серьезностью они чувствуют правду произведений М. Горького и Гоголя. Живут дружно, жалея одних, радуясь за других. И каждый на прощанье желает никогда больше не попадать сюда.

Зимняя, запущенная снегом улица. У трамвайной остановки смельчаки снова бесцеремонно на ходу впрыгивают в ужедвигающийся вагон. А на них осуждающе смотрит мрачными дырами окон кирпичное, старой постройки здание районной больницы. Вон там, на третьем этаже, где большие окна, наша палата...

Москва, март 1941 г.

Провидец.

Прислонившись к забору, я рисовал церковь. Шел снег, бумага размякла, карандашные огрехи резинка не стирала, лишь размазывала. Мерзли руки. Проходящие женщины смотрели бегло на меня, храм, вздыхали и, не заглядывая в мой блокнот, шли дальше. За забором слышались детские возгласы: «Аты-баты, шли солдаты...». Потом стихло. Вдруг я уловил сзади царапанье, сопенье и приглушенный смех.

— У-у-у, чего рисует!..

Поверх забора торчала мальчишечья голова в синей шапке. Вздернутый носик шмыгал в стороны. Мальчуган чихнул, спустился вниз. За ним последовал его приятель.

— У-у-у, церковь! Нашел чего рисовать. Я и то лучше умею.

— Да ну!

— Ага! — Он отставил ногу в теплом ботинке и добавил: — И моя мама лучше тебя рисует.

— А что рисуешь?

— Сталина. Спроси у Мишки, похож вышел. Верно? И Красную площадь, танки, самолеты.

— Сколько лет тебе?

— Скоро восемь. В этом году в школу пойду. Эх ты, большой,— продолжал малыш,— ты бы Кремль нарисовал, Мавзолей. А то церковь. А Ленина можешь?..

Он бойко затараторил, а мне оставалось только смущаться. Этот маленький человечек в наивной форме выразил, как показалось мне, такие глубокие идеи осмысления жизни и искусства, до которых не всякий начитанный умник додумался бы. Я засомневался — стоит ли заканчивать начатую церковную зарисовку. Действительно, кому это сегодня нужно?..

Апрель 1941 г.

Степан Щипачев.

На вечер, посвященный Первомаю, был приглашен в нашу школу поэт С.П. Щипачев,— сын его, Ливий, учится у нас. В сером костюме, седой, со строгим, задумчивым, розового цвета лицом, он сидел в президиуме и беседовал тихонько с известным живописцем П.П. Соколовым — Скаля (чей сын Володя тоже у нас учится). И очень удивился, когда ему предоставили слово.

— Сейчас выступит писатель Щипачев!

Так и объявили: «писатель». До этого все докладчики разъясняли значение Первого Мая — Дня солидарности трудящихся всех стран, поздравляли нас, юных художников, с праздником. А Щипачев начал рассказывать про Москву — старую, дореволюционную. И новую, сегодняшнюю. И про ту, сказочную, что будет, про будущую. Говорил нескладно, с паузами. При этом как-то необычно улыбался, будто кончики рта его привязали к глазам, да так и оставили. Подбирая нужные слова, употреблял стихотворные обороты, но в прозе. Получалось занятно, даже смешно. Нам, конечно, не ему. На мой взгляд, выступил он все же хорошо, с чувством. Прочитал новое стихотворение о Москве. А окончил речь так:

— Сейчас я передаю слово присутствующему здесь писателю, только что завершившему книгу о нашей столице.



Называется книга «Москва-матушка». Кажется, так?..

Писатель (я не расслышал фамилии) кивнул головой: мол, да, да, именно так! А поэт Степан Щипачев вернулся на место. Под аплодисменты зала. Наши ребята-вундеркинды всегда всем хлопают...

Май 1941 г.

### 3. Вставай, страна огромная!..

Война с Германией! Целый день по радио передают классическую музыку, марши, хорошие песни. На экранах снова появились антифашистские кинофильмы «Семья Оппенгейм», «Профессор Мамлок», «Александр Невский». За газетами очереди, каких раньше и не видывали. Вечером обязательная маскировка окон, люди сосредоточены, озабочены, душевно тревожны, но все равно, какие-то весенние. Ходят группами, обсуждают с оживлением события. Сразу после радиоречи Вячеслава Михайловича Молотова домохозяйки помчались в магазины за дефицитными товарами: сахаром, крупой, солью, спичками, мылом.

— Слышали новость? Какой ужас, какой ужас! Кто бы мог представить...

Уезжают машины с призывниками. Ребята бритоголовые, чуть навеселе, прощально машут руками. Прохожие останавливаются, провожают взглядами.

Возле призывного участка разноцветная публика. Несознательная мамаша рыдает, виснет на шее долгового своего сына. Тот тупо на нее смотрит и лезет целоваться к провожающей его девушке. Много пьяных.

В гастрономе на Стромынке очередь. Ругают всю Гитлера. Красноармейцев уважительно пропускают вперед.

В метро одна газета обслуживает, переходя из рук в руки, сразу человек десять. И только после возвращается к своему владельцу.

В Сокольническом парке.

— Смотрю я на небо ясное, летние облака, красиво разряженную толпу гуляющих, листочки зелененькие, и не верится, что в Москву пришла война. Хочешь мороженого?..

На сквере устанавливают зенитки. Собрались ребятки, наблюдают за маскировочными работами.

— Давай, давай отсюда, проваливайте! Пушек, что ли, не видели?

Слухи разнообразные по городу поползли. И про инженеров, которых арестовали за то, что они взрыв на заводе готовили. «А завод-то какой! Аэропланские запчасти изготавливает». И про то, что наши войсковые подразделения будто заняли уже Кенигсберг, к Берлину подходят.

Кто-то верил, соглашался. А потом дома обогащал полученные сведения желательными подробностями.

— Наши-то, говорят, Берлин и Гамбург вот-вот возьмут...

Другие вовсе подобную белиберду не хотели слушать.

23 июня 1941 г.

В три часа ночи объявили тревогу. На лестнице топот ног, двери хлопают. Вдалеке орудия ухают, пулеметные очереди. Улицы безлюдны. Небо серое, пустое. И вдруг:

— Над нашим домом самолет!

— Быстро, быстро, все в убежище!

На всякий случай люди одевают пальто, костюмы лучшие, забирают с собой деньги, документы, спускаются в подвал.

В бомбоубежище (не до конца оборудованном) женщины вполголоса спорят: настоящая это тревога, или учебная.

— Как так учебная? Безобразия, вот что я вам скажу. А случись настоящая, кто поверит-то...

Бабушка с внучкой на руках. Девчушки беззаботно щебечут, обсуждая фасоны туфель. Раньше здесь было рабочее общежитие. Остались от него коричневатого цвета полуржавые кровати с досками вместо матрацев. Валяются кирпичи. В потолок уперлись свежеструганные бревна. В воздухе запах древесных стружек.

Появилась новая партия жильцов. Мужчина в светлой рубашке и подтяжках успокаивает дочку. Маленькие детишки устроили шумную возню. Взрослые зашикали на них. Постепенно исчезло сонное состояние. Потянуло на улицу.

Ни самолетов, ни взрывов. Желтая полоска над горизонтом расширилась, стала ярче. По небу мелкими оранжеватыми барашками поползли облака. Люди, выбравшись из подвала на свежий воздух, продолжали спорить, жестикулировать; наконец-то отбой. И все тут же рассыпались по своим жилищам.

Утром радио передало: «24 июня в Москве Штабом противовоздушной обороны проведена учебная тревога».



На улицах появилось много людей с противогазами. Шагают с важным видом, поддерживая сумку на левом боку. Неужто, теперь на очереди уже не воздушная, а химическая тревога?..

Маленькие ребята помогают взрослым засыпать окна подвальных бомбоубежищ песком. А потом хвалятся друг перед другом мозолями на руках. Небо безмятежно-голубое, облачка легкомысленные, свежая листва. В такую погоду хорошо бы искупаться, а не думать о начавшейся войне. Но все напоминает о ней. Грузовик с песком и стройматериалами, прохожие в полувоенном, плакаты и воззвания на стенах и заборах, разговоры тревожные. Детишки спорят: "Сколько вчера мы подбили танков у немцев?". Один заявил: "тридцать", другой — "шестьдесят". Узнав по радио, что Красная Армия уничтожила триста фашистских танков, захлопали в ладошки: "Вот, это да!".

24 июня 1941 г.

Улица Горького, главная прогулочная трасса Москвы. По тротуару неспешно шествуют двое отменно одетых мужчин, в плащах из мягкой кожи и шляпах набекрень. С ними женщина в оригинальном зеленом пальто. Один из мужчин, длинный, в светлых брюках, увлеченно рассказывает что-то своему коллеге, хромоту, небольшого росточка — вылитый Джон Сильвер из фильма "Остров сокровищ". Оба смеются. Прохожие оборачиваются на эту колоритную группу: "Вон, смотри, Лев Кассиль и актер Осип Абдулов!". Кассиль поглядывает свысока на простой люд. Какой-то зевака крикнул: "Привет, Кассиль!". Тот небрежно кивнул в ответ: мол, здравствуй, здравствуй, давно не виделись! Крикнувший зашагал дальше, светясь гордостью. Как же, он знаком с таким чрезвычайно замечательным писателем, который к тому же еще и радиокomentатор футбольный. И все вокруг это заметили!

27 июня 1941 г.

Июль 1941 года. Пионерлагерь.

Автобус с веселой ребятней покидает столицу. Война войной, а пионерское лето — это пионерское лето, никто его не отменял. У каждого красный галстук на шее. Ветерок тормозит прически, глаза блестят. Мимо мелькают свежевывешенные плакаты призывные, машины с красноармейцами. Москва позади. Волнения тоже. Впереди

увлекательная, полная неожиданностей и приключений, но, наверное, уже без возвышенного романтизма, жизнь. Походы с ночевкой в палатках, работа в колхозе, посильное содействие местным жителям по хозяйству, купанье в речке под строгим надзором пионервожатых. И прочее, прочее. Отдыхать вряд ли доведется. Надо будет трудиться, помогать другим, страна-то в беде.

В первые дни рыли оборонительные траншеи. К этой повинности привлекались все отряды, старшие и младшие. Кроме того, вызволили из земли высоченную лагерную мачту; положив ее на травку, наладили шнуры для подъема и спуска флага. Затем водрузили мачту на прежнее место. Соорудили волейбольную площадку, укрепили столбы, ауты обсыпали белой известью.

Через неделю традиционный утренний подъем флага запретили. Не разрешили пользоваться пионерским горном и барабаном. Зачем и без того в беспокойное время столько шума производить! А вскоре вообще повелели спилить под корень мачту, снять окончательно красный флаг, свернуть шнур.

Физкультурник лагерный оказался малоподходящим. И возраст не цветущий, и болезни у него разнообразные, в основном, радикулитные. Никакого зажигательного примера продемонстрировать он не мог. Ни в гимнастике, ни в легкой атлетике. Только наблюдал, как мы занимаемся, и высказывал ехидные замечания. Малыши, проявив бдительность, решили, что он диверсант, подосланный фашистами. Начали слежку за ним. Через какое-то время его отстранили от работы и отправили в Москву.

Новый физкультурник, остроумный, симпатичный парень, здоровяк, великолепный волейболист, играет в одной из команд "Динамо". Сразу наша спортивная жизнь преобразилась. Стали заниматься бегом, прыжками в высоту, метанием гранаты, устраивать площадку для бега с барьерами. К тому же и баянист (а это одна из главных фигур любого пионерлагеря) у нас исключительный. Веселый, небольшого роста, похожий очертаниями на клоуна Карандаша. Это не мешает ему быть разносторонним музыкантом и технично играть в футбол.

Когда начались всамделишные, настоящие тревоги, нас, пионеров старшего возраста, поднимали ночью с кровати (ох,



вылезать из под одеяла не хотелось!), ставили в крошечной темноте шагах в ста друг от друга в дозор. Ждали — а всякое могло случиться — высадки десанта вражеского. Ни зги кругом, холодно, какие-то звуки естественного происхождения — крики птиц, зверюшек. А потом и механического — немецкие самолеты летели бомбить Москву.

Во время воздушной тревоги, сидя на крыше, дежурные ребята поют: «Лишь только грянет бой, мы побежим домой!».



В. Иванов. Рисунок. Б., кар., 19,5x13,5.  
Москва, июнь 1941 г.

#### 4. Письма к другу. 1940 — 1942 гг.

Москва, Краснопролетарская, 38,  
Борису Р.

30-31 октября 1940г.

Бедный Боречка! Мне тебя жалко. С утра до вечера ты читаешь книжки, а в письмах столько ошибок ляпаешь! Впрочем, это отдельная (как-нибудь вернемся к ней) тема.

Тут я вылез из живописной аудитории на балкон и запечатлел маслом нашу милую Каляевскую улицу. На балконе встретил первый снег. Он сыпался на палитру, краски, перила, прическу мою и нос (даже на холоде не красный). Дрожа всем телом, стуча зубами, я приветствовал его. «Наши случайные встречи» — как поет популярный тенор. Вот именно из-за этих «встреч» я и отправляюсь сегодня не в школу, а в поликлинику. И, конечно, в кино. Дело в том, что после свидания с первым снегом я начал хрипеть, покашливать и даже температурить. В поликлинике врач, угрюмый дядя с усиками, осматривал мое горло. Попросил сказать «А-а!». Горло ему не понравилось. Завтра у нас живопись. И в школу я все равно пойду.

Только что вернулся из кинотеатра, смотрел «Музыкальную историю». Сидел нахально на двадцатом ряду за два рубля. Трогательный фильм. Представь себе, мне показался занятным не сюжет, не сценарий, а сама картина как таковая. Есть и удачные места. Больше всего понравился звук и все, что с ним связано, а также шофер Альфред. «Смейся, паяц, над разбитой любовью!» Не подозревал, что Лемешев так замечательно поет... Собираюсь, преодолев лень, засесть всерьез за географию и анатомию, отстал минимум на тридцать страниц.

Ты не удивляйся моей привычке писать письма. Я их сочиняю, когда есть время, а когда нет — не сочиняю. Как чувствует себя твоя футбольная

команда «Трактор»? «Динамо»-то на первом месте!..

О контролерах. Ты наивный человек. Я, например, пропускаю всю публику вперед (хватит бы еще на один трамвай). А сам прицепляюсь около задней площадки. Еду бесплатно. Вагон битком набит. Метров за десять до остановки и появления «доброего дяди», соскакиваю и спокойно шествую дальше. Недавно видел в трамвае пьяного. Он икал и добродушно улыбался, держа в руках коробочку с пирожными. Одет



прилично. Был вечер. Стоя на площадке у дверей, он посылал воздушные поцелуи дамам, что на остановке. Когда трамвай двинулся, он переадресовал воздушные поцелуи женщинам, находящимся в трамвае. При этом не переставал икать и прижимать пирожные к сердцу. А вчера тряся на

раньше злилась, а теперь и вовсе. Отобрала дневник, поставила по русскому «плохо» и написала в дневнике, чтобы пришли мои родители «для переговоров о поведении ученика 4 класса «а» Шитова Л.». Я сообщил родителям. В субботу он или она пойдут. По всей вероятности, влетит. Жду с нетерпением



Л. Шитов. Водовозная бочка. 1940 г., х., масло, 13x22

подножке с каким-то идиотом в шляпе. Он вез селедки, завернутые в короткую бумажку. Хвосты и головы селедочные торчали наружу. Народу было много. Одной рукой он уцепился за поручень, другой держал селедки. Я посоветовал, пока не поздно, съесть их, чтоб никого они не перепачкали. Но он предпочел соскочить с подножки и идти пешком. На память об этом чуде под ногами продолжала валяться скользкая селедка, из-за которой я чуть не рывнулся акробатически, как динамовский вратарь Фокин.

Насчет живописи. Сейчас я срочно замазываю свои летние пионерлагерные работы. Они до того скверные и слабые, что и показывать стыдно. Правда, одну из них («Бочку водовозную») приняли на нашу выставку.

Опять заболел. Вчера ходил в школу. Сегодня воздержался...

Четверг (число не помню).

Вчера на уроке русского языка я ответил нашей учительнице Наталье Викторовне (она же завуч) на задание: «Придумай пример» — цитатой из рассказа Михаила Зощенко. Цитата ей не понравилась. Наталья Викторовна на меня и

результатов. Извини, что долго не отправлял письмо.

Послушай, Босюля! Очень рад был видеть тебя на литературном вечере. И не очень рад, что ты молчал. Бери пример с меня. Я эту книжку писателя Р. Фраермана «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» прочитал сразу, как только она вышла. И сразу же она напрочь вылетела у меня из памяти. С трудом вспомнил ее название. И то, видишь, смог выступить на обсуждении с критикой. Да еще на стул пришлось вставать для наглядности и солидности. Вообще должен тебе сказать, что Фраерману надо трамваи водить, а не книжки сочинять. Лично мне такие сентиментальности не по нраву. Жалею, что не успел поболтать с тобой. Я был (чтоб домой одному не тащиться) с ребятами из нашего двора, тоже вундеркиндами — Митей Дмитриевым и Роней Зархиным... У меня, знаешь ли, совершенно нет денег, даже на конверт с маркой. Хуже того, ребятам задолжал. Недавно купил квадратный метр грунтованного холста за 22 рубля 30 копеек и трактат М. Дюваля «Анатомия для художников», за 3 рубля 50 копеек, издания 1940-го года, редкое и полезное, тираж всего четыре тысячи. Достал через нашу школу...



Продолжение обязательно последует, ибо сегодня лишь 13 декабря 1940 года.

Боря! Захотел что-то сочинить? Напиши про то, как ты с пионервожатым Павликом ходил в соседний лагерь МТС и что он тебе по пути о своих похождениях рассказывал. Только помни вот о чем. Достоинство Мопассана (был такой замечательный писатель) не в «клубничке» состоит, а в умении согласовывать последовательность событий. Без лишних слов, фраз и действий он в своих коротких рассказах создает такие сильные образы, такие картины времени, так обнажает и клеймит окружающую действительность, что это надолго остается в памяти.

Я был маленьким мальчуганом, когда по радио услышал рассказ про то, как одна богатая женщина одолжила своей подруге, очаровательной, но бедной, ожерелье на один вечер. А она его возьми и потеряй! И вынуждена была занять неслыханно огромную для нее сумму денег, чтобы приобрести новое, точно такое же. Она вернула подруге драгоценности, боясь, чтобы та не заметила подмены. Но надо расплачиваться с долгами. И эта несчастная женщина не отказывалась ни от какой тяжелой работы, стирала и прочее, прочее, быстро состарилась, превратилась в старушку. Однажды она встретила свою бывшую подругу, по-прежнему красивую и молодую. Подошла к ней, окликнула. Подружка отшатнулась, не понимая, что нужно этой жалкой дряхлой особе. Но потом узнала лицо прежней красавицы. «Что с тобою стало?» — Та рассказала историю про ожерелье. Как потеряла его, как заняла деньги, купила новое, что делала, чтоб расплатиться с долгами. Ее подружка расхохоталась. «Чудачка! Ведь то ожерелье было фальшивым. И стоило гроши!..» — Погублена красота, похоронены мечты, думы, фантазии, испорчена вконец жизнь этой женщины, десять лет стиравшей чужое белье и принужденной жить в непростетной нужде. Рассказ этот мопассановский крепко действовал на меня и не выходил из памяти лет пять (!). Только в этом году, читая недавний изданный однотомник Мопассана (с чудесными иллюстрациями К. Рудакова), я наткнулся на него. Называется он «Ожерелье». Вот какая мощь заключена в нем!.. Когда вспоминаю этот рассказ, мне становится страшно. За то время, за Францию, где так легко можно погибнуть.

Не жалея бумаги. Эмиль Золя мучился над одной фразой целый день. Гюстав Флобер переделывал каждую страницу бесконечное количество раз. Истрать десять листов ради одной строчки, но хорошей. Старайся фразы связывать между собой, беги мусорного. Закон большого искусства заключается знаешь в чем? Наименьшими средствами выразить наибольшее. Все, что кажется на первый взгляд в искусстве и литературе простым, на деле является конечным результатом нелегкого труда.



Ира Аристова. *Букет*. 1941 г.  
Б., акв., 16,5x11.

23 февраля 1941 г.

С Новым, уже начавшимся годом! Каким-то он будет?.. Ты меня, наверное, извинишь, я это чувствую, за задержки. Ответ тебе написал еще в прошлом году, ровно месяц назад. Посылаю его вместе с этим письмом.

Каникулы зимние провел замечательно. Вот приблизительный перечень свершенных деяний.

1 января — кино. Ездил на улицу Заморенова к Борису Силину.

2 января — уроки танцев у Б. Силина. Новогодний карнавал в школе, с девяти вечера до шести утра.





Женя Батырь. Рис. 1941 г. 19,2x14,6.

3 января — утром театр. Вечер снова у Б. Силина. Ходили в кино.

4 января — прогулка лыжная в Сокольниках. Вечером новогодняя елка в Колонном зале Дома Союзов.

5 января — опять лыжная вылазка в Сокольники. Ломаю последнюю пару лыж. Во второй половине дня — кино.

6 января — кино в нашей школе. Шлялись с ребятами по улицам. Вечером каток.

7 января — у Б. Силина. Третьяковская галерея.

8 января — снова у Б. Силина. И снова Третьяковская галерея.

9 января — еще одна новогодняя елка в Колонном зале. Бесплатно, а то бы не пошел. Получил там на конкурсе рисунков премию — турнирные шахматы. Познакомился с поэтом А. Безыменским. Очень от него табаком пахнет.

10 января - у Б. Силина. Посещение театра.

11 января — кино. Вечером вместе с Роней Зархиным ходил на каток.

12 января — все на свете. Опять каток.

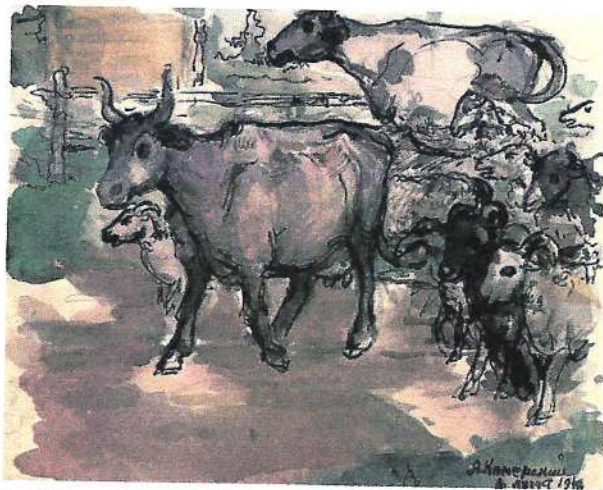
За это же время успел создать композицию (работал дома). Сейчас она демонстрируется на общешкольной выставке. Написал пару этюдов. Сделал

несколько карандашных портретов. Научился кататься на коньках. Сломал хорошие лыжи. Усовершенствовался (все относительно) в танцах. Получил бесплатно комплект шахмат с доской. Завел с десяток новых знакомств. Посмотрел все недавно вышедшие кинофильмы. Читал умные, а потому толстенно-объемистые книги. Каково? Вот это, я понимаю, отдых! Только такое времяпрепровождение, не сомневаюсь, может принести несомненную пользу.

После каникул не успокоился. В первый же выходной день (19 января) устремился на лыжах в Сокольники с Роней Зархиным (лыжи были его). Неудачно прыгнул с мелкого трамплинчика. Днем, часа в три Роня доставил меня на одолженных санках до трамвайной остановки. Домчался на трамвае до своей Стромьинки и оставшийся путь прыгал на одной ноге. Вторая нога будто и не моя, наступать больно. Помню внимательные, понимающие глаза военного, который в трамвайной толкучке помог мне занять место поудобнее. Вечером отец отвез меня на такси в больницу. Сделали рентген — перелом (или трещина) левой голени (лодыжки). С 20 января поселился в Остроумовской больнице. Наложили на ногу гипс. Долго не мог вытерпеть больничного прозябания и через десять дней отпросился домой. Гипс так и не сняли. Вернулся 1 февраля к себе на Колодезную улицу. Через несколько дней мог обходиться без костылей. Вчера сняли гипс. Завтра после долгого перерыва отправляюсь в школу. Ура! Но на улице без подпорки (трости) ходить не могу. Больше месяца не конфликтовал с учителями, аж соскучился! Пока болел, много читал: М. Горький, Л. Толстой, С. Скиталец, журналы «Новый мир», «Знамя», «Молодая гвардия», «Интернациональная литература». В восторге от «Клима Самгина». «Воскресение» Л. Толстого понравилось меньше. Пробовал сочинять рассказы по больничным мотивам. Если не уничтожил их вчера, сожгу (?) завтра... Почему тебе не писал? Вначале не было конверта, но был клей. Потом не было клея (куда-то запропастился), но конверт так и не появился. Дальше я болел. Затем, глядь — ни клея, ни конверта, ни марки. Как найду (или куплю), тут же отправлю.

23 января 1941 г. Ты знаешь, что такое зависть? Нет, ты не знаешь, что такое зависть. Я завидую всякому человечку, катающемуся сейчас на лыжах. А в больнице





А. Каменский. Рисунок августа 1940 г.; акв., тушь, 15x19.

были люди, которые завидовали мне, потому что я мог ходить, вернее, передвигаться с помощью костылей. Существуют, однако, люди, которые никому не завидуют. Они довольны собой, ничего они не желают, ни к чему высокому не стремятся, сторонятся грозы и дождя, солнца и пыли. Это про них сказал М.Ю. Лермонтов: «Тот человек самый пустой, кто весь наполнен сам собой».

27 февраля 1941 г. Вот что! Получил твой рассказ. Возмущен до глубины души. Что это — издевательство над самим собой или обыкновенное, а значит, пустопорожнее времяпрепровождение? Для кого и для чего ты сочинял? Пойми же наконец, литература меньше всего нуждается в хронике, перечне событий. Если выложил все, что накопилось в голове, то это не означает, что создал что-то значимое. «Выложенное» тобой требует чисто санитарной обработки и решительного

редактирования. Представь себе — показывает трехлетний несмышленьш свои эмоциональные, выполненные акварелью с белыми, каракули. Что ему посоветовать? Если говорить про ошибки в рисунке и перспективе, указывать на несовершенство компоновки, слишком резкий колорит, то это будет глупо. Та же ситуация и здесь. Что сказать тебе? Нет предварительной обдуманности, целевой обусловленности писания. Ты лишь фиксируешь свои воспоминания, и то хаотично, перескакивая с одного на другое. Язык безобразный, засоренный мусорными словами. Все это гораздо компактнее можно было расположить и раза в четыре короче. В одном из писем своих Г. Флобер жалуется: «Просидел четыре часа и не мог придумать ни единой фразы. За весь сегодняшний день не написал ни строчки, или, вернее, зачеркнул с сотню куда не годных!». И в



В. Пурьгин. Рис. 1943 г.; б., кар., 16,5x36.



## Пути детства

другом письме: «Бовари» продвигается туго; за целую неделю — две страницы!». И это признание писателя, все свободное время которого (и не свободное тоже) посвящено писательству... А ты? Накатал часа за два кучу страниц — готово! С таким отношением к работе, труду из тебя не только писатель, но вообще никто не получится.

Ты спрашиваешь, какую я сломал руку? Левую. И не руку, а ногу. И она не целиком сломалась, а только треснула. Лежал в больнице (гипс и прочее). Вот и все!.. Сейчас хожу без костылей и палок по улице. Немножко, еле заметно, хромаю. Не от боли,

меня чаем? Много не надо, двух чайников хватит.

Ну, всего хорошего! Завтра контрольная по химии.

4 марта 1941 г. Буся дорогуся! Начинаю с места в карьер. Ты спрашиваешь: что такое образы? Как их создавать? Я, конечно, не Виссарион Белинский, но постараюсь объяснить. Собственными, заметь, словами.

Дело не в носе, не в глазках, не в деталях одежды, не в речах героев, а в том, что если ты пишешь, например, о мальчишке



*В. Пурьгин. Люциан Шитов. Воскресенское, 1941 г.; б., кар., 17,5x12,5.*

а скорее по привычке. Педагоги гоняют меня по всем предметам. Отстал за месяц. Опять камнем на шею висят немецкий язык, история, география, алгебра. Фу!!!

На весенних каникулах давай встретимся! Приеду к тебе в гости. Напиши

А., то должен думать не только о нем, но и о всех других встреченных тобой мальчишках, сходных по характеру с этим А. Но в А. ты обязан воплотить нечто среднее, наиболее характерное для данной группы. Читай и перечитывай классиков. Следи не за





В. Стожаров. Воскресенское. 4 сентября 1941 г.  
Акв., 18,5x27,5.

сюжетом, а за характерами, типами. Как, какими средствами они достигают результатов. Почему их так высоко ценят? Потому что образы, данные ими, впечатляют, они выражают, отражают время. А время не умирает.

Спрашиваешь: а почему я не пишу? Много чувствую и понимаю, вижу порой то, что, как мне представляется, игнорируют другие. Это следствие занятий живописью. Но литературно писать пока не собираюсь, хотя пробовал. Мало видеть, чувствовать, понимать. Надо, чтобы твои чувствования и понимания соответствовали чувствованиям и пониманиям других. А пока для меня такая задача не разрешима практически. Подрасту — другое дело. А писать «просто так» про «золотистые волосы», «ослепительно-белые зубы», про природу, включая осень, зиму, весну и лето,— не хочу! Это тысячи раз в самой превосходной степени воспето и перепето. Да и некогда. К тому же бумагу жаль...

Ты смотрел фильм «Валерий Чкалов»? Если бы актер Белокуров, игравший великого летчика, был совершенно не похож на Чкалова, то все равно можно было бы узнать его. Это означает, что артист стремится не к передаче внешних черт, а к раскрытию внутренней сущности героя. Вот как надо! Понял? Советую тебе завести блокнот. И заносить туда занимательные случаи, обрывки разговоров, анекдоты (желательно приличные), остроты, интересные фамилии. Прочти обязательно «Записные книжки» Ильи Ильфа. Я к тебе

чорт знает когда приеду. Чорт знает, а я нет. Одним словом — свидания до!

Москва, Краснопролетарская, 38,  
Борису Р.

Адрес отправителя: Москва — Уфа — Ишимбай, далее везде. Третья теплушка от хвоста. Мне.

16 августа 1941 г. Борька, здравствуй! Я в Уфе. Ты укатил в Энгельс или застрял? Если укатил, то это мое послание получит и переправит дальше твоя мама. Осталось нам совсем немного, через несколько дней прибудем в Ишимбай, а дальше — Мелеуз и конечный пункт школьной эвакуации — село Воскресенское. Первая партия наших ребят и педагогов уже там. Как живешь? Пиши на адрес школы. Довольно забавно ехать в товарной теплушке шесть суток, спать на ящиках и досках, умирать от жары днем, дрожать от холода ночью, питаться кое-как. На каждой остановке охотиться за кипятком и пытаться попасть в туалет. Иногда поезд останавливался в чистом поле. Можно было выпрыгнуть на волю, справиться, не стесняясь, нужду, нарвать цветочков и, даже если состав тронулся, догнать вагон и, держась за спасательно протянутые руки, взгромоздиться обратно в открытую дверь теплушки. Едут не только вундеркинды, но и целые семьи: мамы, бабушки, дедушки, сестры и братики. Тут же (а пространство вагона не перегорожено) ночные горшки, керосинки, тазики с бельем. Скучать, сам понимаешь, не приходится, суровая правда жизни денно и ночью перед глазами. Будь

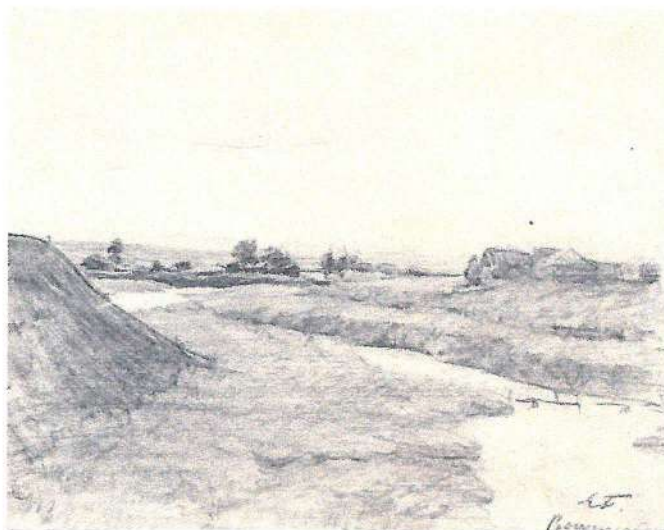


здоров! Учти, письма сейчас невероятно долго идут.

2 декабря 1941 г. Дорогой Борис! Рад, что ты в Энгельсе. Рядом Волга, Саратов. Счастливее! Весной, как сойдет лед, хотел бы приехать к вам. Рад также, что ты устроился и работаешь. А мы, несчастные, все учимся. Некоторые друзья мои вознамерились удрать на фронт, не получилось. Другие собрались в Москву, продали свои вещи, договорились с родителями. И вдруг объявили — Москва на осадном положении. Учимся плохо. Ребята, которые раньше получали стипендию за отличную учебу, сейчас нахватили по три-

композицию на тему: как бы Репин написал свой автопортрет, если бы он был Ван-Гогом.

Размышляем над дальнейшими проектами, делаем эскизы росписей потолка и тыловой стороны печки, основная часть которой у соседей. Кормят сносно, пока живы. Разнообразия маловато: картошка, капуста, капуста, картошка. Но жаловаться грех, порой и мясо перепадает. У нас есть озорной (по прозвищу «эсэс») парень — Вовик Стожаров. Он в столовке при раздаче супа ежели увидит в одной из мисок кусочек мяса, плюет туда и кричит: «Чур, мое!». Хлеба 600 граммов в день. Неплохо! За питание полагается платить 90 рублей в



Женя Батырь. Воскресенское. 1941 г., б., кар., 14x17,5.

четыре «плохо». Окончилась первая четверть. Половину уроков пропустил, не ходил, устраивался в общежитие, переселялся, то да се. Потом посещал, но не регулярно. Писал маслом, пока белила не закончились. Сейчас перешел на акварель.

Живем вчетвером: Геля Коржев, Моря Миркин, Гена Самсонов и я. Комнатка крохотная, четыре кровати, один столик, две табуретки. Свободного пространства нет. Рисуем и пишем, сидя на кроватях. Удобства во дворе, на морозе. Зато есть (пока работает движок) электричество. В коридорчике печка, которая при наличии дров отапливает всю нашу избу (еще две комнаты на двоих и шестерых). При отсутствии дров (что чаще) очень холодно. Спим, не снимая пальто и валенок. Вечером оставишь в кружке воду, утром — лед. И тем не менее, дверь и одну из стен расписали. В духе ренессансных фресок Коржев изобразил мудреца с книгой и черепом. А я попробовал создать

месяц. Из 150 человек внесли плату только двадцать. Поэтому денежные переводы, присылаемые родителями, конфискуются директором. Но у меня осталось кое-что из московских денег. Иногда заглядываю в местную столовую подкрепиться. Все те же жиденькие щи (вода плюс капуста). Вадим Паустовский, сын писателя, сразу покупает десять-пятнадцать порций, сливает воду и ест капусту... Скажу по секрету: у меня в одной четверти было сразу шесть оценок «плохо». Уже отчаялся. Чтобы исправить, следовало по каждому предмету осилить не меньше пятидесяти страниц. С ума можно сойти! К предпоследнему дню улучшил отметки по трем предметам. На следующий — еще две. По географии, видимо, не аттестуют, не ходил. Еле выкрутился!..

Готовим разные платные вечера для населения. Устраиваем концерты в сельском клубе. У нас тут почти профессионального уровня певцы, танцоры и танцорки,



музыканты, акробаты, чтецы-декламаторы. Даже одна актриса Московского художественного театра Мариша Кречетова, старшая сестра нашей Кати Шиллинг. Мне доверили роль конференсье. Дебют прошел успешно. Помог котенок, выпрыгнувший на сцену. Я назвал его «Синдиконем», взял на

Горький, А. Франс, О. Бальзак, Г. Флобер, И. Тургенев, Мопассан, Д. Писарев, Г. Успенский, Ф. Решетников, А. Писемский, Л. Андреев — вот последнее из прочитанного. Заимел привычку — интересные высказывания и мысли выписываю в блокнотик. Поинтересуйся Леонидом



А. Тутунов. Церковь в Воскресенском. 1942 г. Б., акв., 12х15,5.

руки и советовался с этим игривым существом Синдикойшей по поводу исполняемых номеров. Все смеялись. Доход от концертов идет в Фонд обороны. Хоть как-то помогаем...

Сколько рублей стоят у вас сапоги? Есть ли горы? Разъезжаешь ли по улицам на лыжах?.. Здесь горы называются венцами. Попробовал с одной на лыжах скатиться. Стою на верхушке, внизу — малосенькие хатки, бревенчатые заборы, березовая заснеженная аллея, голубые купола церквушки. Человека от букашки не отличить. Из десяти попыток пять увенчались благополучно. Главная трудность заключается в том, что съезжаешь в несколько ошеломляющих мгновений, а обратно взбираешься полчаса. Физкультуру и лыжное дело преподает нам чемпионка страны по фехтованию Раиса Ивановна Чернышева. Мы зовем ее сокращенно: «Рапира». Учит желающих фехтовальному мастерству. Посмотрел тренировки. Чуть не уснул, скучно. Библиотека в школе чудесная, и благожелательная к любителям серьезного чтения библиотекаряша. Листаю альбомы, редкие книги, читаю беллетристику. М.

Андреевым. Это писатель исключительной силы и обаяния. Я им сейчас увлечен. Не забывай Москву. Когда это письмо получишь, настанет уже Новый 1942-й год. Поздравляю! Выпей за здоровье всех (и мое) спиртику, если достанешь!..

22 января 1942 г.

Борька! Извини, долго не отвечал. Замечаю — тупеть начал. Не могу организовать время, заставить себя полноценно учиться. Это не от занудного существования. Надо откровенно признаться, живем мы ничего, просто замечательно. Главное, бесшабашно. На школьные уроки обращаем внимания столько, сколько корова на огнетушитель. Учителей уважаем не больше, чем уссурийский тигр Репина. Надеюсь, понятна степень нашей бессовестности и тупоголовства?.. По твоим письмам сужу — становишься сентиментальным. Зря!.. Сейчас надо жить, жить! Книг начитать успеешь. Если нет других друзей у тебя, кроме всевозможных «в переплетах и без», то откровенно скажу: ничего ты не видишь вокруг, живешь ощущением собственного



«я». Как амеба. Не думай, будто тебя порицаю. Пишу просто так, с искренним желанием верить, что не забыл тебя, помню. Не попади в полыню, когда будешь кататься на лыжах!..

13 февраля 1942г. Дорогой Борька! Я, конечно, хам, и ты меня извини. Тронут частыми твоими письмами. До меня дошли известия, что вы все скоро возвращаетесь в Москву. Искренне завидую!.. С учебой не

дырочки... Выброси из головы романтические бредни об отшельничестве, хижинах, реках и плотках. Не отчаивайся! Будь здоров.

2 марта 1942 г.

Дорогой Борис! Тронуло меня твое письмо, искреннее, а значит, хорошее. Понимаю тебя. Тяжко жить одному с такой наивностью и складом умонастроения. Трудно, когда опускаются руки, и хочется



Воскресенское.

ладится. Учителя виноваты, что ли, или мы? А в общем, все не так, все не так... Нельзя сказать, что с живописью и рисунком, не говоря о композиции, у меня лучше. Успехов никаких. Все на свете надоело. Предпочитаю сидеть среди природы, нежели на лекции московского профессора о живописи. Единственное, что делаю с вполне понятной охотой — ем и так далее. На картошку (основная наша кормежка) меняем рубашки, штаны. В среднем, по два пуда на каждую единицу одежды. В свободное от приема пищи время думаем о жизни, шлепаем этюды, делаем зарисовки. В школе отсыпается на надоедливых уроках. Природа в Воскресенском обворожительная: на горизонте горы, много неба, остатки меднолитейного, старого, еще петровских времен, завода, разрушенная церковь, деревья, крикливые вороны, всюду жидкая черноземная грязь, перемешанная с мелким хрустящим шлаком. Весны и разлива речки не боюсь, плавать умею. Единственное затруднение — в чем, лаптях или босиком? Не в дырявых же штопаных перештопаных валенках! Кстати, ты ходил в лаптях? Удобная обувь, легкая, не протекает. Лыко от влаги разбухает и затягивает все

зажмуриться, уйти в сон, сказку, подальше от настоящего. Сложно перебороть себя, заставлять делать полезное, необходимое другим. Я еще мальчишка и не имею жизненного опыта, но советы люблю давать. Итак: меньше оставайся, как говорил Марк Аврелий, наедине со своими раздумьями. Перестань копаться в себе, анализировать поступки и проступки. Не обращай внимания, если задевают самолюбие, не мелочись.

Здесь, в Воскресенском, есть один славный парень, жгучий брюнет, наш сосед по общежитию, Коля Максютов (настоящее имя Рашид, но мы зовем его Максом). Он убежденный, до фанатизма, живописец, пейзажист, поклонник Левитана и сторонник пастозного, мелкими мазочками, письма. На жизнь смотрит обобщенно, с трезвым хладнокровием.

— Все нипочем,— усмехаясь твердит он, вытирая о светлые холщовые казенные штаны (своих нет) испачканную в красках кисть.— Не умру, и ладно!..

Вызывают его к директору, дают за полное пренебрежение к школьным урокам выговор, сообщают об этом матери. А он спокойненько:



— Не умру, и ладно. На остальное — чихать!..

Вспомни, наконец, тургеневского Базарова: «Важно, что дважды два четыре, а остальное пустяки!». Так, пожалуйста, не драматизируй обстановку, подходи к жизни с легкой усмешкой.

Читай про сильных духом героев, чтобы после книг хотелось совершать значимые действия. Сочиняй! Но стихи брось. В стихотворстве, на мой взгляд, должно быть больше веселья, озорства, обыкновенного здоровья, а не нытья о личных переживаниях. Попробуй силы в прозе...

Борис! На днях состоялась лекция, вернее, вечер воспоминаний московского профессора живописи Григория Михайловича Шегала (его дочка Ляля у нас учится) о Л. Толстом, В. Маяковском, И. Репине, М. Нестерове, С. Есенине, М. Горьком и Сталине Иосифе Виссарионовиче. Народу — ой, ой! — пожаловала вся школа.

На небольшом возвышении за маленьким столиком, покрытом драпировкой из натюрмортного фонда, на фоне старого бурого ковра, сидел человечек удивительно мелкого роста с розовой степенной лысиной, края которой окаймляли серебристые волосики.

— Вы, будущие художники, — начал он, — обязаны быть людьми культурными, образованными, знать и понимать не только изобразительное искусство, но и многое другое. Например, литературу, философию, разные науки. Поэтому, надеюсь, вам небезынтересно будет послушать меня, человека немолодого, повидавшего на своем веку немало, лично имевшего счастье быть знакомым с такими гигантами русской культуры, как Лев Толстой, Илья Репин, многими другими выдающимися художниками, писателями, поэтами. С одними из них мои встречи ограничивались беседами, иногда продолжительными, других видел вовсе мельком. Обо всем этом я и намерен сейчас поведать.

Григорий Михайлович начал рассказ свой с Льва Толстого.

— Было это в 1904 году. Я, тогда пятнадцатилетний малец, жил в Туле, учился в мастерской гравирования. Целые дни резал штихелем по меди и дереву виньетки, рисунки, а по ночам самообразовывался. Буквально проглатывал книги. В то время я только что прочитал романы Льва Толстого «Воскресение», «Война и мир», «Анна

Каренина». Пришел в восторг. Вот это сила! Я знал (да не только я, весь мир), что здесь, недалеко от Тулы, живет творец этих чудесных произведений. До Ясной Поляны, где располагалась его усадьба, было верст сорок. Мы решили с братом идти пешком. Брат был постарше меня на два года, но менее активным. Отправились спозаранку. Пришли. Усадебный дом Льва Толстого, с точки зрения архитектуры, ничего примечательного не представлял. Хороший, конечно, но обычный. Полдень. Время обеда. Мы стояли возле громадного дерева напротив усадьбы. Видели через застекленную террасу, как проходили и рассаживались гости. Слуги пронесли подносы, полные разной еды, услужливо



Клара Власова. Букет. К., масло, 17х12.  
Село Воскресенское, 1941-1943 г.

открывали двери. Появился хозяин. Он был в простой полотняной блузе, впоследствии получившей название «толстовки». На голове темная бархатная ермолка, какие и сейчас носят академики. Слуги двери перед ним не раскрывали, Лев Николаевич отворял их сам. Это характерно для его настроений в тот период. Тогда Толстой проповедовал учение, имевшее религиозный оттенок, основанное на моральном самоусовершенствовании, неприятии



цивилизации и идеях непротivления злу насилием, так называемое «толстовство»). В домашнем обиходе Лев Николаевич подчинял свои поступки и поведение этим принципам.

А мы все стоим под деревом. Солнце печет. Прошло еще немного времени.



*Т. Скородумова. Воскресенский детдом и футбольное поле. 1941-1943 г.  
Акв., 16х26,5.*

Смотрим, выносят порожнюю посуду, тарелки, блюда. Гости стали расходиться. Я был счастлив уже тем, что мне, пусть издали, но удалось увидеть живого Толстого. Вдруг с террасы спускается он. Остановился, огляделся и направился к нам. Мы замерли. То ли от страха, то ли от радости. Лев Николаевич неторопливо, спокойной своей походкой приближается. Я подумал, если сам Лев Толстой к нам идет, почему бы нам не сделать шаг навстречу? Встретились. От неопишемого счастья у меня отнялся язык. А Лев Николаевич смотрит мягкими улыбающимися глазами. У него был неприятный, некрасивый нос. И борода не такая густая и раскладистая, как изображает Репин. Она была реденькой, немножко жалкой. Наконец, я еле выдавил из себя: «Здравствуйте». Лев Николаевич ответил. И тут же предложил: «Давайте поговорим, побеседуем». Станным мне показалось: как это «побеседуем», о чем? Он прославленный писатель, мыслитель, граф, а мы кто? Угадав наши сомнения, Лев Николаевич спросил: «О чем беседовать? Вот, например, вас что-то интересует. И меня тоже что-то интересует. Значит, мы можем обменяться мнениями, способны начать диалог. Поговорим о Боге,

разуме, политике...». Я набрался храбрости и сказал, что Бог нас не занимает. А на политику (русско-японская война началась) времени нет совершенно. Потому что мы сильно заняты. И еще добавил, что мое сердце сейчас целиком принадлежит искусству. Выпалил я это невпопад, о чем

заметил поздно. В те годы Лев Толстой как раз негативно относился к искусству, отрицал его, считая бесполезным и вредным. Но он лишь усмехнулся. «Это хорошо, что вы не занимаетесь политикой, хорошо». И рассказал про одного своего увлеченного корреспондента, который в письмах делился с великим писателем: «Ура! Я вступил в партию эсеров. Это воистину самая революционная партия!». Потом разочаровался. «Лев Николаевич,— писал он,— я перешел в ряды левых социал-демократов. Твердо убежден, что меня с этой партией может разлучить только смерть». А еще немного спустя: «Слишком поздно понял, что линия левых социал-демократов в корне ошибочна. Я навсегда порвал с ними. Хватит заблуждаться! Теперь я анархист. Передо мной большой, светлый путь. Изучаю труды Михаила Бакунина». Этому корреспонденту оказалось всего шестнадцать лет...

В конце рассказа Лев Николаевич снова заметил: «Так что хорошо, что вы не интересуетесь политикой, хорошо. В вашем возрасте политика вредна...». Затем он похвалил меня за любовь к искусству и обещал подарить свою книжку о том, что



такое искусство. Через несколько дней я получил письмо от помощника Льва Николаевича, известного толстовца Черткова. Он сообщал, что книга выслана. Письмо-то я получил, а книгу до сих пор нет. Больше с Львом Николаевичем я не встречался...

Во время лекции в зале потух свет. Ребята не шумели, не свистели, сидели тихонько. Григорий Михайлович продолжал говорить в полной темноте. Внесли керосиновую коптилку со слабым дрожащим пламенем. Дальше речь шла о Сергее Есенине.

— Сидели мы, несколько художников и литераторов, в приемной известного издателя Ивана Дмитриевича Сытина. Было, не помню уж по каким причинам, совсем темно. Почти так же, как сейчас...

А надо сказать, что самодельная лампа на столе возле Шегалья света давала меньше, чем зажженная спичка, и лектор был еле различим.

— Так вот, было, значит, темно,— продолжал Григорий Михайлович,— ни лампы керосиновой, ни света электрического. Налево от меня сидел щуплый, артистического склада юноша. Я, обращаясь к нему, спросил, не художник ли он. Юноша ответил: нет, поэт. Я начал покровительственным тоном расспрашивать, что он читает, что нравится, откуда сам. Юноша отвечал, что он из Рязанской губернии, из села Константиново. Отец его духовное лицо. Какое именно, я не запомнил. Впоследствии нигде не мог найти об этом упоминания. Из села своего юноша послал Сытину сборник своих стихов и получил взамен двадцать рублей. Когда ж



В. Иванов. Пир.  
К., акв., 19х6. 1941-1943 г.

приехал сюда, друзья-приятели надоумили, что, мол, двадцать рублей ничтожно малая сумма за такие шедевры. Лучше вернуть деньги обратно, не позволять так беззастенчиво издеваться над собой. На мой вопрос: «Как ваше имя?» — он ответил: «Сергей Есенин». И сообщил, что из поэтов сильнее других ему нравятся Пушкин, Блок и Гумилев. «Печатались ли вы?» Он смутился. Оказалось, стихи его публиковались, но в малоизвестных газетах и сборниках. «А с собой есть стихи?» — «Нет. Да и темно. Но я помню наизусть». И начал читать. После первых же строк стало ясно — передо мной настоящий самородок, оригинальный, крупный поэт, лирик. Мне сделалось стыдно, что вначале так с ним разговаривал, словно учитель с учеником...

Тут Шегаль вошел в пафос и начал немного привирать.

— Я оглядел его с обостренным вниманием,— продолжал Григорий Михайлович.— Это был хрупкий, бледный юноша. Ну, вылитый сказочный Лель с белокурыми кудрями и ласковыми голубыми глазами...

Заметь, Боря, это все Шегаль в совершенной темноте разглядел. Вот глазастый-то!.. Но

рассказывал занятно. Про остальные его воспоминания, не менее увлекательные, напишу после...

21 марта 1942 г.

Друг Борька, не отчаивайся! Я, конечно, как все эгоисты, письма писать не шибко люблю. А отсылать их тем более. Впрочем, ты сам знаешь. Но все-таки не обращай на сие внимания и пиши мне. Так же



*Пури германца*



*Верхний ряд (слева направо):  
В. Пурыгин, А. Китаев, М. Голубенков.*

*Нижний ряд:  
Л. Чибисов, М. Дмитриев, Р. Максютов.  
Село Воскресенское.*

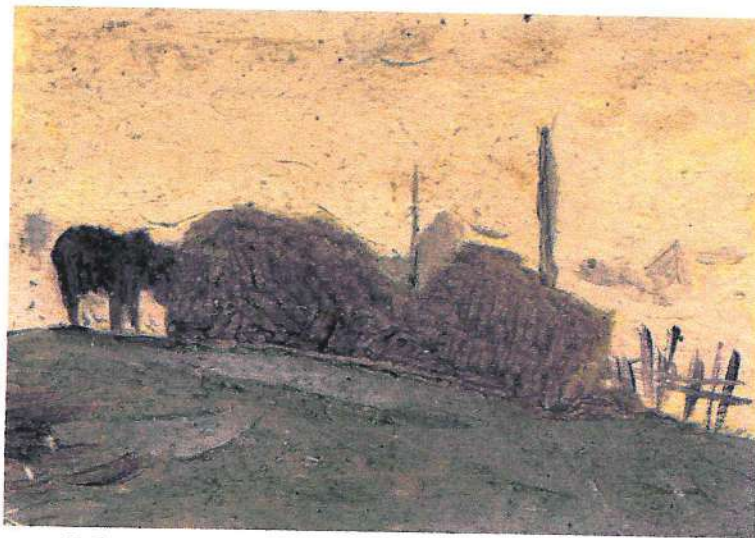


часто, как раньше. Обо всем. Собственно говоря, это же чрезвычайно интересно! Когда человек пишет не думая, он не врет. Вот и получается правдивая картина нынешней нашей жизни. И я буду иногда присылать тебе большие и, как всегда, умные писульки. Вижу, что Энгельс вполне культурный городишко, ежели там есть такое заведение, как «Фото». Рад был бы направить тебе мою физиономию, да в Воскресенском трудно сняться. Как и повеситься — веревок нет. Здесь всего два магазина. Один постоянно закрыт, а во втором, кроме продавщицы, ничего и никого нет. У нас предоставили отсрочку ребятам 1923-го и 1924-го года

нельзя уразуметь раннего Маяковского. Позднего тоже.

Про Маяковского нам рассказывал Александр Шор, приехавший в Воскресенское к своей дочке Агде, старый музыкант и приятель (если верить ему) М. Горького, Ф. Шаляпина, С. Рахманинова.

— Владимир Владимирович,— говорил он,— жил на Красной Пресне, как раз надо мной, на втором этаже. Однажды собралось у меня интересное общество. Пожаловал и Маяковский. Я тогда молодым был, дерзким. Решил испытать, испробовать на отзывчивость сердитого, если судить по внешнему виду, поэта. «Что,— спрашиваю,—



В. Захаркин. Воскресенский мотив. 1942 г. Б.,масло, 10х14.

рождения. Они после первого июня отправятся в Москву (или что-то вроде). В армии будут делать фронтовые и прифронтовые зарисовки. Везет же некоторым, приобщаются к глобальным событиям времени!.. Судя по фотографии, ты поумнел. Шпарь дальше. Привет!..

10 апреля 1942г.

Борис! Увлекаешься Маяковским? Полезно! И в то же время нормально. Интерес к нему так же необходим и обыкновенен в нашем с тобою возрасте, как игра «в войну» детишек-шестилеток. Это, по-моему, завершающая стадия превращения ребенка в так называемого юношу. Но мало читать Маяковского, его надо изучать, пробовать понять. А главное, помнить, что о своих недочетах лучше других говорил сам Маяковский. Может, он со стыдом вспоминал то время, когда ругал Пушкина и других поэтов, ставших классиками. Не ознакомившись с их стихотворчеством,

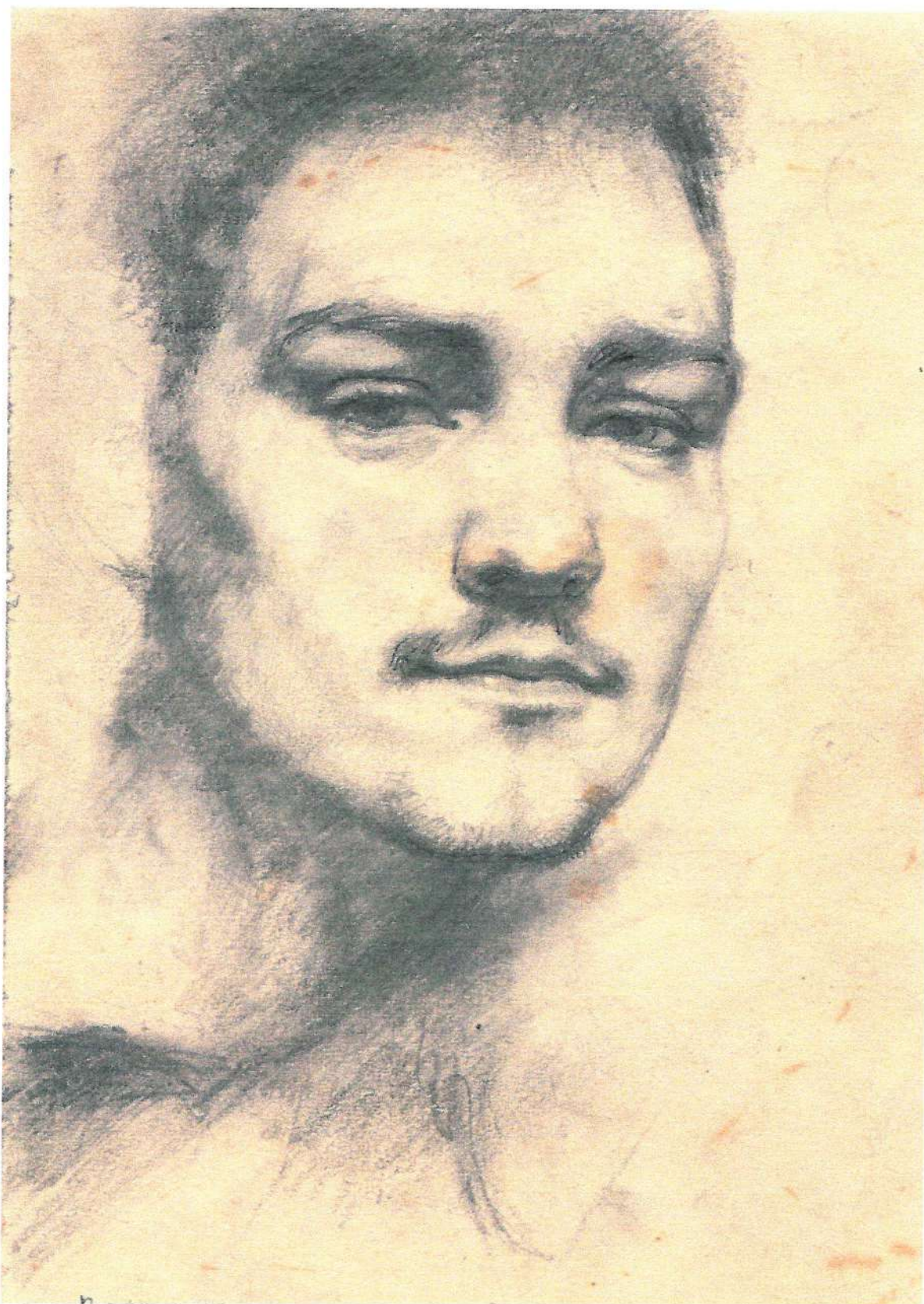
вам здесь нужно?» — А он влажным басом, трагически: «Ж огоньку пришел. Я всё, как Прометей, огонь ишу...». Маяковский постоянно острил, грубоватым казался лишь на публичных выступлениях. А в обществе близких людей был тихим, застенчивым. Сидел скромно, молчаливо слушал бурные споры окружающих, как бы впитывая в себя полезные замечания. У меня есть книжка Кнута Гамсуна «Пан» с рисунком Маяковского. Правда, плохоньким...

То, что ты, Боря, стихи сочиняешь — не вредно. Но и не особенно полезно. Тем более, сам знаешь, бумага сейчас товар дефицитный.

Завтра мне исполняется семнадцать лет!..

24 апреля 1942 г. 11 апреля мне стукнуло семнадцать лет. Благо к Пасхе в сельпо давали водку. Встретили эту знаменательную дату с размахом, по-русски. Полным составом нашей четырехперсонной

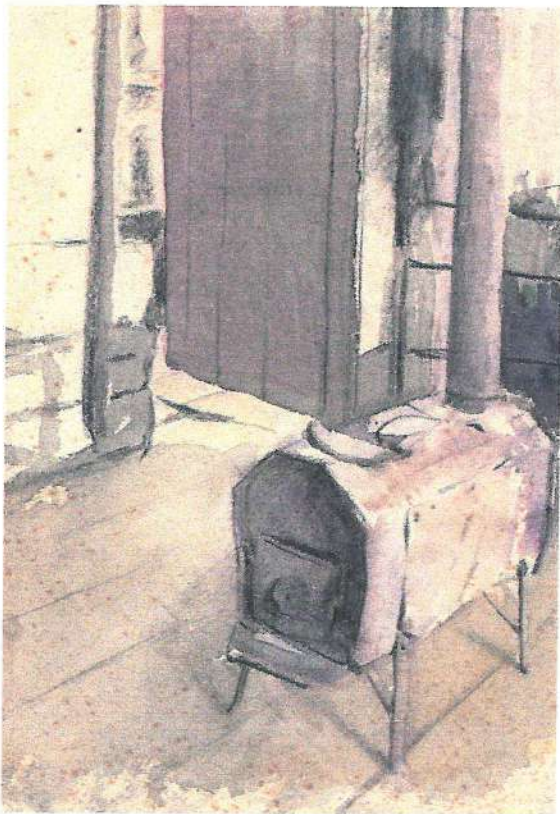




*В. Иванов. Автопортрет; с. Воскресенское, 1941-1943 г. Б., кар. 20,8x14,5.*



(включая меня) комнаты. Накупили и наменяли продуктов, сварили ведро супа, представь себе, с мясом, а кроме того, свекла, лук, картошка. Последней, разумеется, больше, чем воды — так вкуснее. Принарядились и даже умылись. Расселись чинно. Стол сверкает почти свежей скатертью. Водка в бутылочке подмигивает бликами. Привлекательный всесторонне натюрморт! Третье блюдо — большая



*Женя Батырь. Интерьер. Воскресенское. 1941 г.  
Б., акв., 25x17.*

кастрюля сладкого кофе, куда влили для благоухания полтора литра молока. Гулять, так гулять! Нажрались до чертиков. Лежали на спине и малоинтеллигентно рыгали в потолок. Уснули. Вечером проснулись, и осенила нас светлая, как башкирское небо, идея — айда к девочкам! Прихорошились и нырнули в ночь, грязь, темень. Зато в девичьем общежитии (именуем его «гаремом») ожидал нас дребезжащий патефон (с ассортиментом пластинок классической музыки, «Риоритой»), песнями Вадима Козина и Георгия Виноградова), искристые глаза, доброжелательность, танцы при копилке. Корчились в танцевальном безумстве чуть не до четырех утра. Умиротворенные, довольные собой, другими, вечером вернулись к себе,

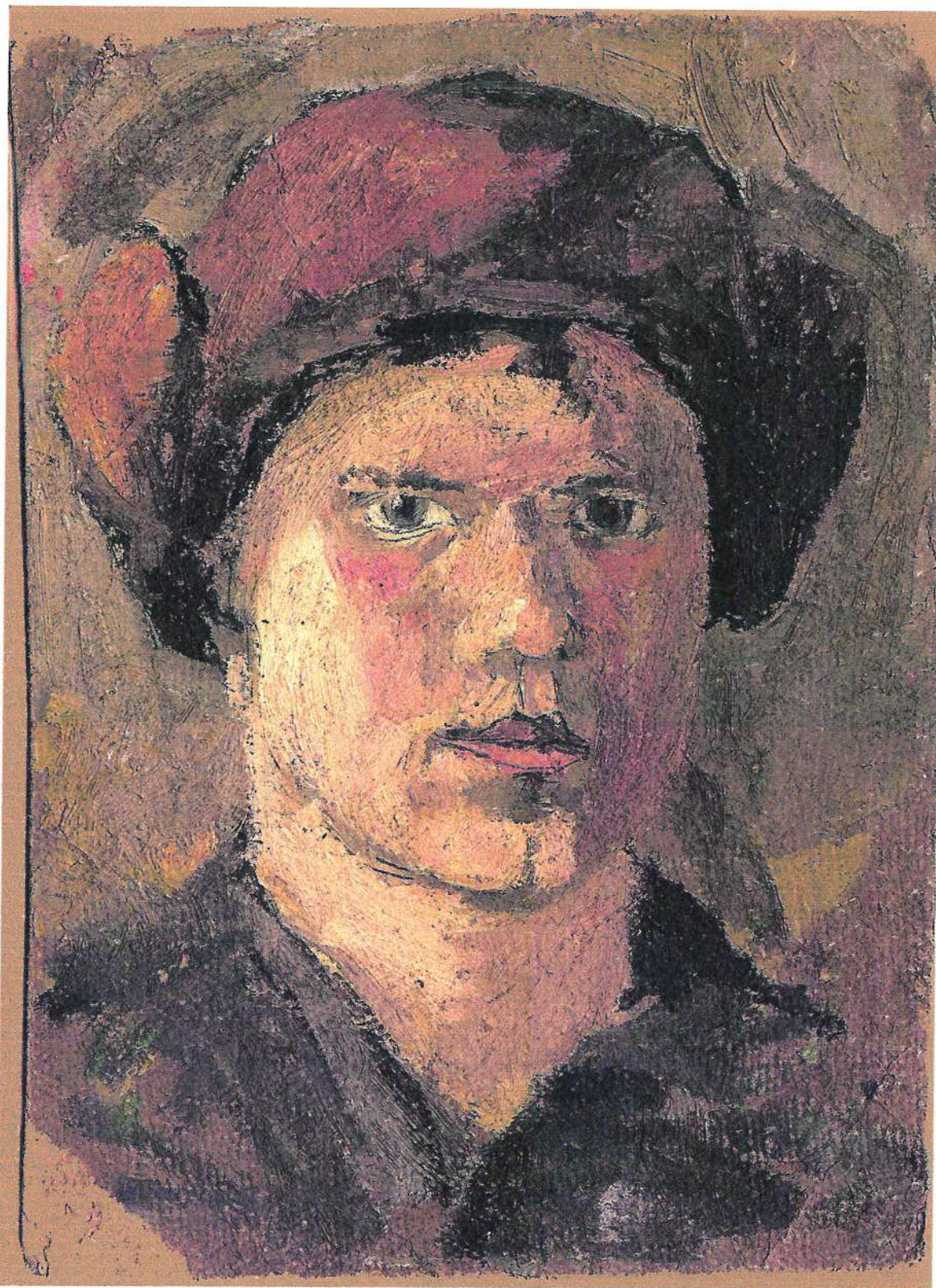
повалились в кровати. А через три часа уже бежали завтракать в школьную столовую...

Весна будоражит чувства людей. Мы тоже люди. Пробуждающаяся природа укрепила связь (платонически, безгрешно, а не в фривольном смысле) между общежитием нашим и «гаремом». В любое время можем закатиться в гости, шутить, дурачиться, галантно порассуждать о высоких материях, совершенствоваться в танцах. Здорово? И это в то время, когда где-то кто-то, не жалея жизни, воюет за Родину. В политическом отношении я отстал. Газеты не интересуют, передаваемые по черной, висящей в клубе радиотарелке сводки Совинформбюро тоже... Научился курить, на собственную шею. Сейчас стакан табака — девять рублей. Почти все рубашки (и прочее) сменял на картошку. А тут еще дополнительная забота. Достали на нашу комнату мешок махорки, вырываем из учебников страницы, крутим «козьи ножки». Дым коромыслом... Что ж, надо брать от жизни все, что можно. Как сказал не помню кто, может, даже я: «Быстро молодость промчится, так не лучше ли пока ею вдоволь насладиться: жизнь ужасно коротка!..». По утрам играем в перекидочку двухпудовиком. Любители тяжелой атлетики, а таких у нас не мало, утащили гирьку из тутошной бани.

Скоро Первое мая. Ознаменуем праздник пролетарской солидарности достижениями в учебе, серией вечеров, танцулек, а потом, как напутствует завучиха Наталья Викторовна, — в колхоз, на трудовые подвиги. Экзамены после. Три за одну неделю! Да какие: литература, алгебра, геометрия. Один предмет тошнотворнее другого... Чаше присылай фотографии — безразлично какие, хоть свою физиономию. Ведь в любом случае это живое напоминание о той, недавней жизни.

Дорогой Борис! Не сердись? Поймешь меня, если узнаешь, что за три дня я умудрился сдать пять предметов. Скоро испытания. Вместо того, чтобы прилежно грызть, ориентируясь на учебник, науки, шляемся на горы, загораем. Иногда гоняют нас на сельхозработы, копать картошку. На душу приходится кусок поля размером пятьдесят метров на два — сотка. Его надо обработать за три часа. Делаем быстрее. Правда, насчет качества лучше умолчать. Видели зайца. Живого, к сожалению, а не жареного. Природа здесь дикая и странная. В свободное время играем в футбол. Я





*В. Пурьгин. Автопортрет. 1942 г.  
К., масло, 36,5х26.*



выступаю в новом качестве — голкипером, вратарем то есть. Кроме того, продолжаем менять последнюю одежду на махорку и картошку. Скоро будем щеголять в одних трусиках. Нам тоже выдавали сахар — 250 граммов на нос. Мы проявили изобретательность, накупили и наменяли куриных яиц (десяток — 35 рублей), целые дни крутили «гоголь-моголь». Пожалуй, это единственный случай, когда ребята увлеклись если не литературой, то уж «Гоголем» точно. В начале мая усиленно читал. Только катастрофическое положение с отметками прервало это занятие. За десять дней «промахнул» треть «Войны и мира» Л. Толстого, «Евгению Гранде», «Утраченные иллюзии» О. Бальзака, «Очарованного странника» Н. Лескова, «Мещанское счастье» и «Молотов» Н. Помяловского, «Дневник» Н. Пирогова, статьи любимого мной Д. Писарева, — шпарил с утра до ночи.

За исход испытаний боюсь. В математиках ничего не смыслю... Не скучай, Боря! Нет спирту, хлебай одеколон. Скажу по секрету, мы уже пробовали — гадость. Читай Маяковского, он дядя хороший и целеустремленный...

29 октября 1942 г.

Дорогой Борис! Аполлон торжествует: в его сторонники вступил ты! Но Аполлон — мелочь. Народ будет рыдать и плакать, плакать и рыдать. И лить водопадом слезы. Возможно ли это? Это ли возможно? Ты — и вдруг художник! Даже не верится, что такое может статься... Никаких советов нравоучительных тебе не преподам. Скажу одно — если ты впрямь поверил, несмотря на предостережения собственной природы, в свои художнические возможности, захотел стать творческой личностью, не обращай внимания на учителей. На весь тот бред, который будут они внушать тебе: о форме, цвете, фактуре. Делай, как хочешь и что хочешь. Ежели это не по нраву другим — уже хорошо. Истинное искусство, поверь, или восхищает, бросает в восторг зрителей, или заставляет их негодовать. С точки зрения эстетической — то и другое равноценно. Цель художника — воздействовать на людей. Как? Безразлично! Важно, чтобы зритель либо бесился от возмущения, либо плакал умиленно. Далековато, конечно, я заехал в своих рассуждениях. Но все, что сказал, относится к зрелым художникам, а ты пока ученик. Ученик не учителей, а самого себя. Учись у

себя, учись у других, у товарищей. Учись, но не подражай! Будет трудно. Но если у тебя есть хоть на пятак талантливости и если ты выдержишь этот естественный, но жесткий отбор, то нечто толковое должно из тебя получиться. А нет — значит, так предопределено судьбой, останешься сапогом. В любом случае времени истраченного жалеть не придется. Вспоминать его будешь, как самое золотое в своей жизни.

Ты спрашиваешь, что читать про изобразительное искусство? Ничего. По крайней мере, поменьше о Репине и прочих Крамских. На первых порах это вредно. Попробуй узнать что-либо о Матиссе, Сезанне, Клоде Моне. Из наших мастеров, надеюсь, тебя заинтересует Сарьян и Павел Кузнецов. Сперва учись у них, а потом краешком глаза можно глянуть на Сурикова. Кстати, я вступил в комсомол. Буду активно бороться за социалистический реализм. Ура!..

Село Воскресенское.



Наташа Малиновская. Новогодний карнавал. Село Воскресенское, январь 1943 г. Б., акв., 14х17.

## 5. Литературные описи

(с. Воскресенское).

### Винючник торжества.

Она, она голодная была...

Ветер скрипел ставнями. Из окна приземистой избы опрокинулся луч света и зажег лужи сиянием, дождь порывами хлестал морду продрогшего Джульбарса, и в глазах собаки печально отражалось мерцание хиленькой лампы.

Утром грязь подморозилась, черная земля покрылась инеем, небо, вчера бурное, успокоилось. Хотелось есть. Как всегда. Обойдя избу, ничего вкусного пес не нашел; проснулись люди. Они выскочили



полуодетые, грубо гоготали, кидались осколками шлака в умывальник. Увидев Джульбарса, принялись швыряться в него. Один камень попал в бок. Пес взвизгнул и убежал через дыру в заборе.

Усевшись возле дверей массивного деревянного строения, Джульбарс лизал ранку. Он знал, что это столовая, или, как ее здесь называют, "Сельпо". Сюда вчера привезли мясо. Попробовать бы!

...Схватив увесистый кусок, Джульбарс выскользнул наружу. Свирепые голоса преследователей настигали. Осталась одна дорога: через знакомое отверстие в заборе на двор школьного общежития, откуда его прогнали утром. Запах мяса кружил голову, кусок весь извалялся, оставаясь по-прежнему вкусным. Вдруг Джульбарс вновь увидел вчерашних знакомых. Они, размахивая деревянными ящичками, меланхолично разглядывали, задрав головы, верхушки деревьев и, казалось, ничего больше не замечали. Но один обернулся и хрипло воскликнул:

— Смотрите!

Сердце Джульбарса екнуло. Сейчас прогонят его обратно. Ой, ой, только не туда!

— Пырьай мастихином!

Беленькое липовое полено пролетело над головой, стукнулось о забор и, отскочив, резко ударило Джульбарса.

— Тащи мясо! Ишь, какой кусище...

О, если б имел он прежние зубы и прыть! В бессильной злобе Джульбарс бросился на обидчиков, но они отпихнули его. А когда захотел вернуться к своей трудно заработанной добыче, то увидел, как долговязый лохматый тип бережно тащил в избу вожделенную мясную кость.

Ветер снова гнул ветки деревьев. Луна безучастно смотрела на хлябь. Блеклый свет керосиновой лампы отражался в лужах. Крупными слезинками падали с крыши дождевые капли. А за крохотным оконцем мельтешили силуэты жизнерадостных оболтусов. Они спорили на возвышенно-романтические темы, энергично размахивали руками, копошились у печки. Пахло подгоревшим мясом.

Вскоре парни выскочили на двор, стали дурачиться. Тренируя меткость (а вдруг, пригодится!) швырялись в умывальник. Заметили пса.

— Вот он, виновник торжества! Сидит, облизывается...

Прошло еще несколько дней. Опять за окном общежития сутились фигурки

людей. Они устроили "благоухон" (это их выражение), торжественно праздновали день рождения своего школьного товарища. Пригласили и любимого преподавателя. Угощали его картошкой с мясом прямо из прокопченного, снятого с жаркой печки большого ведра. Правда, хлеба не было, но соль достали.

— Вкусно? — спрашивали ребята у учителя.

— Отменно, отменно! — отвечал он, потирая веснушчатые руки.

— А как мясо?

— Мне нравится. Это кролик?

— Нет, Джульбарс.

Холодало, моросил противный дождь со снегом.

Февраль 1942г.



Рашид Максютов. Печка. К., масло, 15x12.

Стихи тех лет

Всем, всем!  
Помни, гражданин любой:  
тыл — это фронт второй.  
Упорной работой  
честь называться бойцом  
заработай!  
Солнце осеннее, лучись,  
сердца людей жаль.  
У героев фронта учись,  
им подражай.

6 октября 1941г.



**Сложноцвет.**

Состав бежит.  
Поля, поля.  
Дрожит вагон.  
И вечный стук.  
Нас солнцем встретила  
башкирская земля,  
пожатым  
цепких черноземных рук.  
Нам стог улыбкой  
желтой засверкал,  
в широкие объятия  
приняла нас степь...  
А там?  
Там Гитлер вел  
громил лихие банды,  
и в небе над Москвой  
фашистский "юнкере" выл.  
А мы?  
А нам сказали:  
— Вы таланты.  
Сидите и рисуйте  
до конца войны.

по такому случаю умытые,  
рассматривая собственные тени,  
каждый вспоминает  
немножко позабытые  
слова  
без сильных выражений.  
16 марта 1943г.

**6. Из записных книжек**

Вчера ближе к вечеру пожаловал к нам в общежитие А.О. Барщ. Он сказал Косте Карамяну:

— Мочись у крыльца аккуратнее, клуб затопишь!

Мы в полемику не вступали, отмолчались. Хотя, конечно, потерять клуб, где устроено временное наше здесь пристанище, не хотелось. Александр Осипович продрог, дрожал, пощелкивал зубами. Широкие плечи демисезонного, не очень теплого его пальто, обмякли. Из поднятого воротника высовывалась тощая, совсем не спортивная, с жировидной шишкой сзади, шея. Вид имел наш наставник явно не



*Женя Лобанов. Закат. 1941-1943. К., масло, 12,5x20.*

**Гарем.**

Комнатушка  
темная, как ящик.  
Одной коптилки  
на все углы  
не хватит.  
Музыкой встречая  
всех входящих,  
патефон скучает  
на кровати.  
Девичий уют в коврах разбросан,  
на веревке сушится чулок.  
Изогнувшись ласковым вопросом  
чья-то тень колеблет потолок.  
Нахмурился лица,

героический. Утром, когда мы рисовали в школьной аудитории голову натурщика, Александр Осипович сделал замечание по поводу недоброкачественного поведения Жени Лобанова. И получил произнесенный совершенно спокойно юношеским баском ответ:

— Бросьте трепаться!  
— Что? Повтори, что ты сказал?  
— Бросьте, Александр Осипович, трепаться...  
Сегодня Лобанову объявили выговор.

Утром изморозь. Лес на горах задернулся облаками, будто откусан



сердитым небом. Через дорогу (грязь не затвердела) перебраться невозможно.

2 октября 1941г.

Пришел Валя Пурьгин.

— Деньги есть?

— Есть.

— Знаю, сейчас скажешь : вот тебе три рубля и катись. А мне надо рублей пятнадцать, не меньше.

— Есть и пятнадцать. Дам.

Оказывается, у Вали стащили все его сбережения, рублей шестьдесят.

— Как приехал, оставил чемодан в коридоре. Деньги и кулек с конфетами далеко не засовывал, сверху положил. Чуть погода открыл чемодан, глядь: пусто. Уперли!..

По распоряжению школьного начальства мы должны, помогая общенародному патриотическому делу и героическому фронту, трудиться с энтузиазмом до середины октября в колхозе. Валя решил воспользоваться паузой в обязательных занятиях и укатить домой, в город Куйбышев. За красками, теплой одеждой. Война-то вряд ли через две недели закончится.

— До Ишимбая,— делился он планами,— доберусь пешком. Это километров сорок пять. Затем — Стерлитамак. А там, напрямик, на Куйбышев. Узнал, билет стоит тридцать девять рублей. Наскреб уже сорок один. Не беспокойся, отдам. Если дома трудно, подхалтурю, плакаты антифашистские в студии делают, двадцать пять рублей штука...

Вошел Геля Коржев.

— Домой навострился? — обратился он к Пурьгину. — Зря стараешься. Чего ради из-за нескольких дней по грязи туда-обратно шлепать, на станциях без жратвы сидеть. Понимаю, если б насовсем дома остаться или в Москву перебраться. А так, какой смысл? Здесь разве плохо? Питание бесплатное, рисуй, пиши сколько душе угодно!

— Не уговаривайте, ребята, все равно уйду! У директора вот письменное разрешение получил, в дороге пригодится. Два дня к нему приставал. Если здесь останусь, со стыда сгорю. — Так и не уехал. Но со стыда не сгорел.

...Тяжело с дровами. Днем в общежитии температура доходит до пяти градусов. Изо рта пар валит. А где их, дрова-то, брать? Паустовский, Карамян и Батырь вознамерились позаимствовать вечером у

детдомовцев. Получилось! Когда шли обратно, у калитки их остановил директор детдома. Наружность мрачная, небритая, одет во все кожаное.

— Стой! Чьи бревна?

— Наши, наши! Из общежития девочек несем.

— Как же! Они сами мерзнут, знаю. Без дров сидят. А почему ночью тащите, не днем?..

Он провел с ребятами назидательно-воспитательную беседу и побежал жаловаться Н.А. Карренбергу. Карамян и Батырь перепугались, бросили поленья. Паустовский не поддался. Красный, запыхавшийся, ввалился в общежитие с двумя большими плашками.

— Прячьте скорее!..

На следующий день, когда мы во дворе кололи дрова, появился Карренберг. Он, вероятно, ничего не знал о вчерашнем событии.

— Откуда дровишки, из леса вестимо? — спросил он, улыбаясь.

— Не совсем,— сказали мы смущенно.— Но около того...

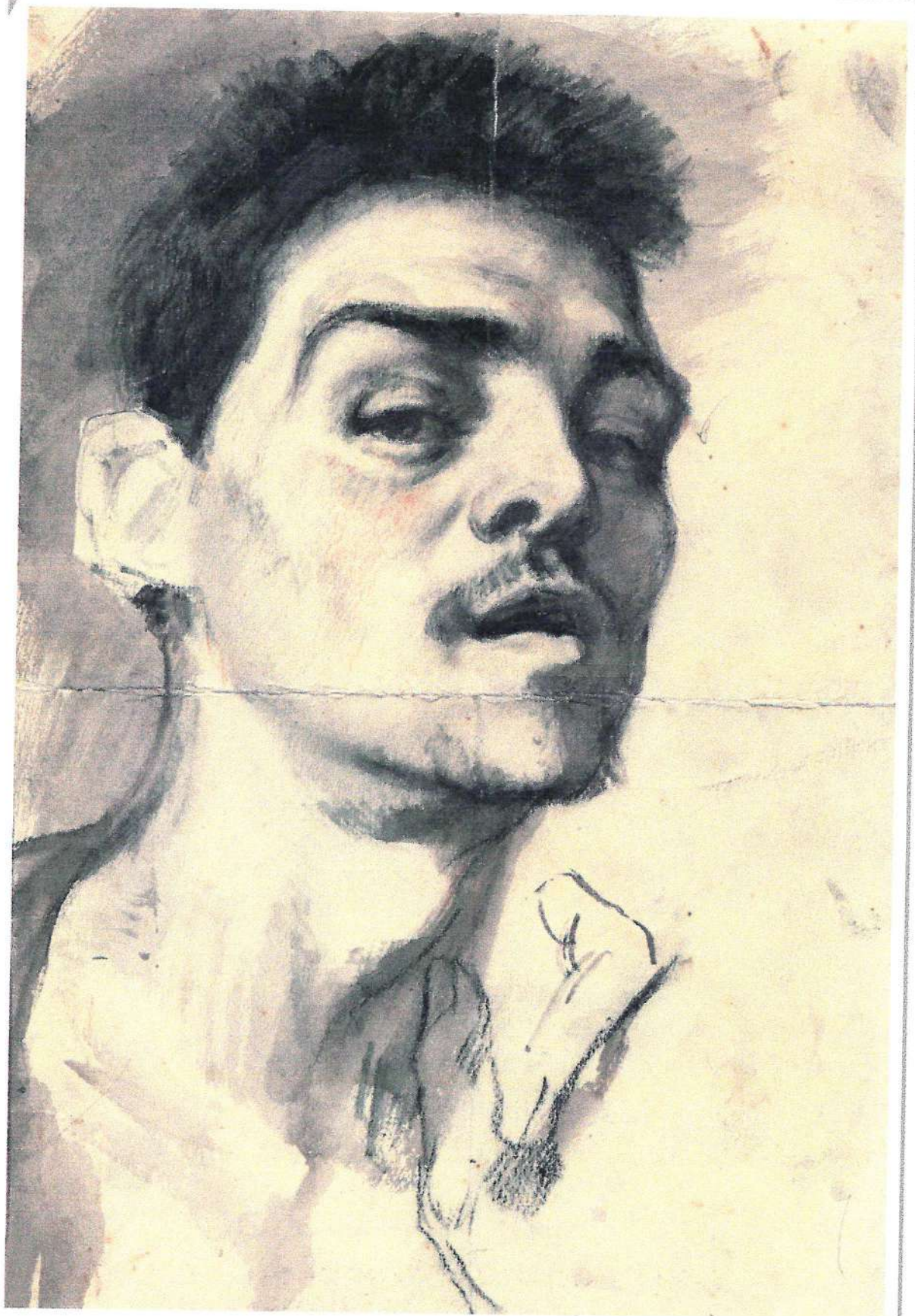
Николай Августович замысловато покачал головой и ничего не ответил.



Н.А. Карренберг. Рис. Л. Шитова. 1941-43 г., 13,2x8,5.

“Любить — это значит: в глубь двора вбежать и до ночи грачьею, блестя топором, рубить дрова, силой своей играючи”... Любовь-то тут, пожалуй, ни при чем. Все дело в рубке дров; шел дождь. Дождище





*В. Иванов. Автопортрет. 1941-1943 г.; б., смешанная техника, 29x19,5. Село Воскресенское.*



даже. Энергичными порывами он полосатил небо, взмывал вверх и бросал на землю охапки желтых листьев, ломал ветки и сучья, превращал чернозем в мутное, мерзкое месиво. Было темно, холодно, сыро. Но хочешь - не хочешь, а колоть дрова надо! Чтоб печку протопить, ночью не мерзнуть.

На голову и за воротник падала вода. Сердишься, споришь с поленом. Упрямо эта деревяшка не желает поддаваться насилию. Держишь заклад: кто кого? Неужто совсем негодным топором, ничего общего с колуном не имеющим, можно раздробить это сучковатое, мокро-слизкое бревнушко? А дождь хлещет и хлещет, струйки стекают на лицо, взмокшая прическа глаза загоразживает. Но продолжаешь остервенело лупить полено о камень, будто это не деревяшка, а Гитлер ненавистный. Камень раскрошился, деревяшке хоть бы хны. Снимаешь куртку. Вспоминая подвиги отважных наших фронтовиков, снова и снова колохматишь топором. И когда, наконец, удастся повергнуть врага, когда он разбит, на кусочки расщеплен, чувствуешь себя гордым, успокоенным. И насквозь промокшим...

Возле правления колхоза "Аврора" я и Вадик Паустовский беседовали с завхозом школы Яном Григорьевичем Медоваром. Он славен тем, что буквально заполонил все село Воскресенское своими многочисленными детьми и родственниками. Мы даже песенку сочинили о том, как четырнадцать медоваров пошли купаться в море, а резвиться на просторе им довелось уже в совершенно другой местности, в Башкирии. Обсуждали мы вопрос снабжения общежития дровами. Сколько ж можно терпеть такое!.. В воротах показался Н.А. Карренберг. Хмурый, чем-то недовольный, с поднятым воротником пальто, в высоких сапогах. "Надо поздороваться, — подумал я. — Впрочем, он еще далеко. Неудобно издали". На некоторое время забыл об этом, отвернулся. И вдруг, рядом резкий голос:

— Когда же вы будете здороваться?  
— Николай Августович зло теребил портфель. — Сколько раз надо об этом говорить?..

И в этот же момент у меня произвольно сорвалось: "Здравствуйте!" Так что мои приветственные слова и меткое замечание Николая Августовича слились воедино, образовав почти оперный дуэт.

Вадик Паустовский, накупившись, буркнул обиженно:

— А мы о дровах думали, вас не заметили. — Ян Григорьевич вымолвил:

— Ай-ай-ай!..

Директор заморгал от неожиданности серыми глазами, подбирая ответные, соответствующие случаю, слова. Вспомнив, вероятно, что молчание золото, повернулся и нервной походкой зашагал дальше. Наверное, в столовую.

Деревья сосредоточенно склонили осенние прически над затянутой инеем дорожкой клубного сада. Столб самый обыкновенный, деревянно-прозаический. На его верхушке укреплена черная радиотарелка, опушенная снегом. Транслируют скерцо Шестой симфонии П.И. Чайковского; богатырской. Со снежинками на непокрытых головах стоят почти не одетые, выскочившие из избяного тепла, ребята. Слушают восхищенно, дрожат от холода, аккомпанируя патетическому симфонизму перестуком своих зубов. Небо утреннее, чистое, просторное. Мощные, жизнеутверждающие аккорды заставляют забыть непогоду, изморозь. Деревья соскучились по циркулюнику. Ветер взялся, насколько в его силах, исполнить эту обязанность. Наскочил на деревья, вмиг постриг их, обезлистил. Музыка, осень, ребята, суровая пора жизни. Поэзия и проза, слитые воедино.



А. Тутунов. Воскресенское. 1942 г. 7,5x12,5.

Вот и середина октября. Первый день учебы после колхозно-трудового перерыва. Обули лапти (другой обувки уже не было) и отправились в школу. Начало общеобразовательных предметов в три часа дня. На первый урок опоздали, нас не пустили. Пришлось оставаться на улице. Чтобы совершенно не замерзнуть, решили навесить девичье общежитие. С озера дул влажный сквозящий ветер. Приняли нас



радушно. Над постелью Ники Гольц целая выставка превосходных репродукций. Особенно привлекателен автопортрет бородатого Леонардо да Винчи. На импровизированном столике (торчмя поставленный чемодан, покрытый почти чистой салфеткой) альбомы и не толстые по объему книги. Текст не нашинский. Но имена-то какие: Рафаэль, Гольбейн, Эль Греко.

Было всего три урока. Первый — математика, второй и третий — литература. Из всего, рассказанного о великом и симпатичном А.С. Грибоедове, запомнил лишь то, что среди других убитых его опознали по исковерканному (следствие дуэли) пальцу левой руки. Голова совсем отсутствовала. Вот тебе, и горе от избыточного ума.



Игорь Мануйлов. Воскресенское. 4 мая 1942 г. Б., акв., 13x17.

Церковь в селе Воскресенском (нарушенная безобразно) неизменно привлекала нас — человечески и художественно. Несмотря на все беды и обломы, она являлась могучим свидетелем прошлого, неведомой нам, далекой от нынешних волнений жизни.

Вместе с Вадиком Паустовским лазил на колокольню. Спиральная, обгаженная пернатыми озорниками, лестница. От деревянных (а еще есть и каменные) ступенек осталось лишь несколько планок, остальные растащены на дрова. Где раньше колокола располагались — кучи птичьего помета. До оконного проема пробуют дотянуться верхушки изящных березок. Посмотришь вниз — рыжие листочки импрессионистической сеткой

перегораживают мерцающее бликами озеро. Жирная лоснящаяся земля, устланная опавшей листвой. До того красиво и живописно, что хоть вниз от восторга бросайся, или за этюдником беги. А внизу обитательницы девичьего общежития. Сверкая карими глазами, Лика Сафьян кричит:

— Роша, хочешь талон на ужин? Есть лишний.

— Ой, хочу, хочу! — отвечает Роша Натапова.

Меня толкает в бок Вадик:

— Слезаем скорей! Может, и нам достанется. — Опоздали. От огорчения чуть оба не свалились с дырявой лестницы.

Распевая глуповатую песенку: “Раз, два, три, пионеры мы, папы, мамы не боимся, делаем в штаны”, жизнерадостно утречком

идем в школу. За спиной солнце, впереди тени длинные. Ровная, до гор, дорога. По обеим сторонам избы двух- и трехконные, да ленточка уменьшающихся к горизонту телеграфных столбов. Школа наша — крохотная избушка, похожая на баньку. Вмещается в нее (а есть еще одно школьное помещение в центре села) только один класс. Эта честь выпала именно нам. Идем радостные, ко второму уроку, почти сытые после посещения сельпо. Каждый умудрился съесть по четыре дешевеньких винегрета.

Переменка. Верзилы-школьники восседают верхом на узеньких, не рассчитанных на таких дылд, четырехместных партах и курят самокрутки из туошного, прозванного “Смерть Гитлеру”, табака.





Саша Гущин. Воскресенские зарисовки 1941-1943 г., б., кар., 21,5x31,2.

Урок истории. Ведет местный учитель. Следит за своей речью, не хочет оконфузиться перед столичными вундеркиндами, хотя сам не намного старше нас.

— Алексей Михалыч кажинный вечер проводил у Артамона Матвеева, часто видел там Настасью Нарышкину...

Учитель остановился, задумался. Затем, стукнув карандашом по столу, продолжал:

— Здесь он ее и увидел. Вот!..

Про Петра I выражается так: “Воздушевленный Петр”.

Ребята не обращают внимания на учителя, каждый (вернее, “кажинный”) занят своим делом. Кто наброски делает, кто в “морской бой” играет, кто потолок рассматривает. Но вскоре изменилось к историку отношение. Мы, буквально раскрыв рот, слушали его увлеченные рассказы (а в столицах он не обучался) о любимом своем крае, истории села Воскресенского и горного завода Петра III, Салавате Юлаеве и Пугачевщине.

В магазине местном. Покупательница, коренная воскресенка, спрашивает носастую продавщицу:

— У тебя, чай, гребешки-то есть?

— Есть, есть! Обождь маленько, я селедку доем...

Каждая семья в Воскресенском (почти каждая) имеет баньку. Строеньце

крохотное, потолок низкий, приходится сгибаться в три ноги-бели. Под ногами, возле пола, малюсенькое, величиной в ладошку, оконце. Без стекла, затыкается тряпкой. Темно, не разобрать где что. Вместо алюминиевых, как в городе, шаек, корытца на четверть ведра, выдолбленные из цельного куска дерева.

В такую миниатюрную прокопченную баньку-хибарку помещается три средней упитанности взрослых человека. Моются мужчины и женщины вместе. Столько пару горячего напустят, что удивляешься, как выдерживают. Крепок русско-башкирский народ!

Пробовали и нас в обязательном порядке вогнать в это моечное заведение, определили очередность, мыло (а это необычайный дефицит) жидкое зелено-коричневое давали. Мы оказались хитрее. Мыло брали, но “мылись”, не снимая пальто и обуви. Помочишь водой голову и не торопясь, выходишь наружу. “Проверяющая” (из числа школьных сотрудниц) рукой проведет по мокрой прическе: “Помылся? Вытрись полотенцем как следует, простудишься!”.

Воскресенский старожил рассказал мне такую историю.

— У нас ведь тоже художник был, богомаз, иконы писал. Да так красиво! Заказали ему икону святого великомученика Георгия Победоносца сделать. Но обязательно на белом коне и чтобы острым



копьем змея-злыдня поражал. Художник-то увлекся, натура творческая, и коня не белым, а красным изобразил. Икону освящать надо, а батюшка сопротивляется. “Я тебя о чем просил? На белом коне, на белом! А ты что?” Художник оправдывался: “Конь молодой, шустрый, потому и красный. Состарится, успокоится — белым станет”. Осветили...

Старик. Облик впечатляющий. Широкий прямой нос, светлые улыбающиеся добрые глаза, грудь, как говорится, колесом, здоровенные ручища. Ходит в черной косоворотке, серых из толстой ткани портках. На ногах ладные лапти. Осанка гордая. На него можно долго смотреть, восхищаться могучей славянской красотой. Этаким сказочный богатырь. Мало того, он, оказывается, был даже делегатом какого-то колхозного съезда. И имя у него подходящее — Тимофей Емельянович. Фамилию не знаю. Неужто, Разин, или Пугачев?..



Виктор Иванов. Старик (на обороте - автопортрет: стр. 58).  
Б., кар., 23x19,5. Село Воскресенское. 1941-1943 г.

...И без алкогольных напитков было неплохо. Длинный, покрасневший от свекольных винегретов стол. Вилки и ложки не хватало. Приходилось есть ножами и даже мастихинами. Пыжились держаться культурно. На каждый стол полагалось (благо худые) по два человека. Ничего, поместились. После ужина достали и подогрели на печке патефон. Начались

танцы. В соседней комнатке, служившей спальней, сидели нетанцующие и пускали в мерцающий от коптилки потолок кольца махорочного дыма. Тут же заинтересовались предметами «гаремного» интерьера, рассматривали альбом с набросками, где с академической обстоятельностью изображались девочки в их естественном виде... Кто-то, наткнувшись на пузырьочки и баночки, делал себе маникюр, а один из гостей, самый бесцеремонный, примерял поверх своих давно не глаженных брюк девичье трико.

Все оделись, насколько позволяли возможности, в самое лучшее, каждому хотелось выглядеть опрятно. Поэтому не брезговали одевать чужое. Во время игры в жмурки (традиционной для таких встреч) легко находили друг друга, узнавая на ощупь собственные рубашки и пиджаки.

Целое утро Моря Миркин корпел над созданием композиции. Пригвоздил к стене огромный картон, кусочком печного угля наметил большие тональные пятна, да как начал вытирать о картон кисточки! Я смотрел и никак не мог разобрать, что за сюжет он выбрал. А Моря, уже весь перепачканный углем и масляными красками, разъяснял: «Это лошадей сдают Красной Армии». А я-то полагал, что тема его эскиза — взятие Чапаевым Трои. Зашел Вадик Паустовский. Долго смотрел, сопел. Моря спрашивает:

— Нравится?

— Ага! Только не совсем понятно, что это волю.

Во время игры проигравшего заставляли в наказание что-нибудь делать. Моря Миркина попросили спеть. Он встал к печке и поднял кадык вверх. Одна штанина у него подвернута, другая — нормально опущена. Все настороженно ждали.

— Не умею...

Уговорили. Моря надтреснутым голосом вытянул свое коронное:

— И колокольчик, дар Валдая...

Осекся и убежал.

Что такое наш Воскресенский патефон? О, это целая поэма-экстаза! Мембрана перекручена веревкой. Вместо выпавших, утерянных винтиков — спички, гвоздики. Действует это музыкальное чудо так. Устанавливается пластинка. Один человек беспрерывно крутит патефонную